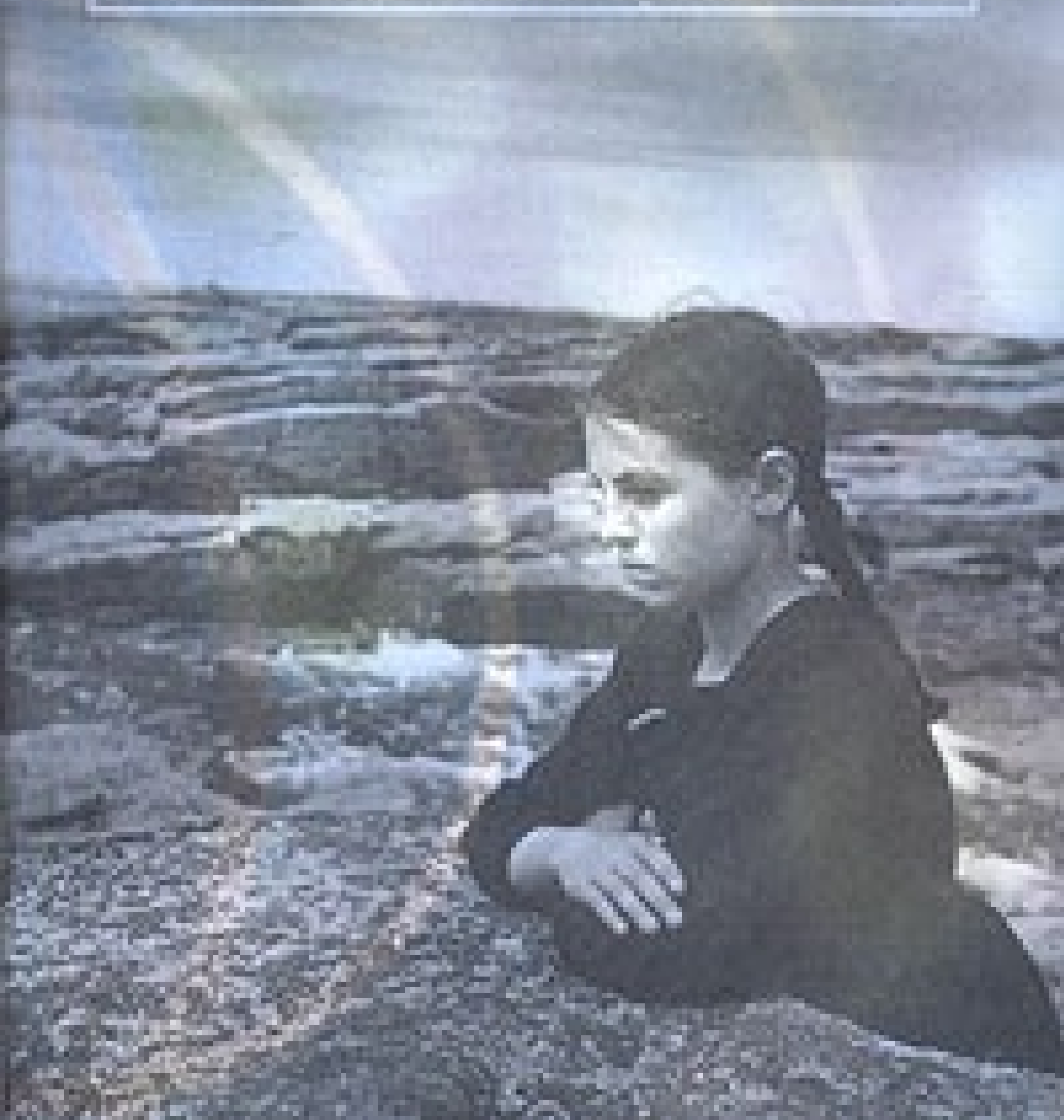


Людмила УЛИЦКАЯ

Медея и ее дети



Annotation

Произведения Людмилы Улицкой можно назвать «прозой нюансов» — и тончайшие проявления человеческой природы, и детали быта выписаны у нее с особой тщательностью. Ее повести и рассказы проникнуты совершенно особым мироощущением, которое, тем не менее, оказывается близким очень многим.

Повесть «Медея и ее дети» уже завоевала признание читателей у нас в стране и за рубежом. История крымской гречанки Медеи — это история любви и разлуки, короткого женского счастья и долгих лет тягостного одиночества, радости единения и горечи измены. Стремление героини раскрыть свою душу, поделиться теплом наталкивается на непонимание самых, казалось бы, близких людей, оказывается им ненужным...

Одно из лучших произведений русской прозы конца двадцатого века.

-
- [Людмила Улицкая. Медея и ее дети](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
-

Людмила Улицкая. Медея и ее дети

Людмила УЛИЦКАЯ
МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ
(Семейная хроника)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Медея Мендес, урожденная Синопли, если не считать ее младшей сестры Александры, осталась последней чистопородной гречанкой в семье, поселившейся в незапамятные времена на родственных Элладе Таврических берегах. Была она также в семье последней, сохранившей приблизительно греческий язык, отстоявший от новогреческого на то же тысячелетнее расстояние, что и древнегреческий отстоял от этого средневекового понтийского, только в таврических колониях сохранявшегося наречия.

Ей давно уже не с кем было говорить на этом изношенном полнзвучном языке, родившем большинство философских и религиозных терминов и сохранившем изумительную буквальность и первоначальный смысл слов: и поныне на этом языке прачечная зовется катаризма, перевозка — метафорисис и стол — трапеза... Таврические греки, ровесники Медеи, либо вымерли, либо были выселены, а она осталась в Крыму, как сама считала, по Божьей милости, но отчасти благодаря своей вдовьей испанской фамилии, которую унаследовала от покойного мужа, веселого еврея-дантиста, человека с мелкими, но заметными недостатками и большими, но глубоко скрытыми достоинствами.

Овдовела она давно и больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах, который очень ей пришелся.

Первые десять лет она носила все исключительно черное, впоследствии смягчилась до легкого белого крапа или мелкого горошка все по тому же черному. Черная шаль не по-русски и не по-деревенски обвивала ей голову и была завязана двумя длинными узлами, один из которых плоско лежал на правом виске. Длинный конец шали мелкими античными складками свешивался на плечи и прикрывал морщинистую шею. Глаза ее были ясно-коричневыми и сухими, и темная кожа лица тоже была в мелких сухих складках.

Когда она в белом хирургическом халате с застежкой сзади сидела в крашеной раме регистрационного окна поселковой больницы, то выглядела словно какой-то неизвестный портрет Гойи. Размашисто и крупно вела она всякую больничную запись, также размашисто и крупно ходила по окрестной земле, и ей было нетрудно встать в воскресенье до света и отмахать двадцать верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться к вечеру домой.

Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа. Если не сидела она в белой раме регистратурного окна, то непременно маячила ее темная фигура либо в Восточных холмах, либо на каменистых склонах гор к западу от Поселка.

Ходила она не праздно, была собирательницей шалфея, чабреца, горной мяты, барбариса, грибов, шиповника, но не упускала также и сердоликов, и слоистых стройных кристаллов горного хрусталя, и старинных темных монет, которыми полна была тусклая почва этой скромной сценической площадки всемирной истории.

Вся округа, ближняя и дальняя, была известна ей, как содержимое собственного буфета. Она помнила не только где и когда можно взять нужное растение, но отмечала про себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда: заросли горной мяты спускаются вдоль весенних промоин восточного склона Киян-горы, вымирает барбарис от едкой болезни, сжигающей нижние ветви, а цикорий, напротив, идет в подземное наступление, и корневища его душат легкие весенние цветы.

Крымская земля всегда была щедра к Медее, дарила ей свои редкости, зато и Медея благодарно помнила каждую из своих находок вместе с самыми незначительными обстоятельствами времени, места и всеми оттенками испытанного некогда чувства — начиная от первого июля девятьсот шестого года, когда маленькой девочкой посреди заброшенной дороги возле Ак-Мечети она обнаружила ведьмино кольцо из девятнадцати некрупных, совершенно одинаковых по размеру грибов с бледновато-зелеными шляпками, местной разновидности белого. Венцом же ее находок, не имеющих пищевой ценности, был плоский золотой перстень с помутившимся аквамаринном, выброшенный к ее ногам утихающим после шторма морем на маленьком пляже возле Коктебеля двадцатого августа шестнадцатого года, в день ее шестнадцатилетия. Кольцо это носила она и по сей день, оно глубоко вросло в палец и лет тридцать уже и не снималось.

Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест, ни на какие другие края не променяла бы этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на шесть недель.

Родом она была из Феодосии, вернее, из огромного, некогда стройного дома в греческом поселении, давно слившемся с Феодосийской окраиной. Ко времени ее рождения дом потерял изначальную стройность, разросся пристройками, террасами и верандами, отвечая этим ростом на бурное увеличение семьи, случившееся в первое десятилетие так весело

начинавшегося века.

Этот бурный рост семьи сопровождался постепенным разорением деда Харлампия Синопли, богатого негоцианта, владельца четырех торговых кораблей, приписанных к новому в ту пору Феодосийскому порту. Старый Харлампий, к старости утративший ненасытно-огненную алчность, только диву давался, отчего это судьба, пытая его многолетним ожиданием наследника, шестикратным рождением мертвых младенцев и бессчетными выкидышами у обеих его жен, так щедро награждала потомством его единственного сына Георгия, которого он после тридцатилетних трудов выколотил-таки себе. Но, может, в том была заслуга второй его жены, Антонида, которая по обету дошла до Киева, а родив и выкормив сына, до смерти держала благодарственный пост. А может быть, многоплодие его сына шло от тощей рыжей невестки Матильды, привезенной им из Батума, вошедшей в дом скандально непорочной и рожавшей с тех пор раз в два года, в конце лета, с непостижимой точностью по круглоголовому младенцу.

Старый Харлампий по мере рождения внуков слабел, добрел и утратил к концу жизни вместе с богатством даже образ властного, жесткого и талантливое купца. Но кровь его оказалась сильной, не растворилась в других потоках, и те из его потомков, которых не перемолотило кровожадное время, унаследовали от него и крепость натуры, и талант, а всем известная его жадность в мужской линии проявлялась большой энергией и страстью к строительству, а у женщин, как у Медеи, претворялась в бережливость, повышенное внимание к вещи и в изворотливую практичность.

Семья была столь благословенно велика, что являла бы собой прекрасный объект для генетика, интересующегося распределением наследственных признаков. Генетика не нашлось, зато сама Медея, со свойственным ей стремлением все привести к порядку, к системе, от чайных чашек до облаков на небе, не однажды в своей жизни забавлялась, выстраивая своих братьев и сестер в шеренгу по усилению рыжести, разумеется, в воображении, поскольку она не помнила, чтобы вся семья когда-нибудь собиралась вместе: всегда кто-нибудь из старших братьев отсутствовал... Материнский медный оттенок проявлялся так или иначе у всех, но только двое, она сама и младший из братьев Димитрий, были радикально рыжими. У Александры, по-домашнему Сандрочки, волосы были сложного цвета красного дерева, даже и с пламенем.

Выскакивал иногда укороченный дедов мизинец, который доставался почему-то только мальчикам, да бабушкина приросшая мочка уха и

исключительная способность к ночному видению, которой, между прочим, обладала и Медея. Все эти родовые особенности и еще несколько менее ярких играли в потомстве Харлампия.

Даже семейная плодovitость расщепилась на две линии: одни, как Харлампий, не могли произвести на свет хоть самого малого ребеночка, другие, напротив, сыпали в мир красноголовую мелочь, не придавая этому большого значения. Сам Харлампий лежал с десятого года на феодосийском греческом кладбище, на самой его высокой точке, с видом на залив, где аж до второй войны шлепали последние два его парохода, приписанные, как и прежде, к Феодосийскому порту.

Спустя много лет бездетная Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников, вела за ними свое тихое ненаучное наблюдение. Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к старости даже усилился.

Сезонными наплывами родни Медея не тяготилась, как не тяготилась и своим осенне-зимним одиночеством. Первые племянники появлялись обычно в конце апреля, когда, после февральских дождей и мартовских ветров, являлась из-под земли крымская весна, в лиловом цветении глициний, розовых тамарисков и китайски желтого дрока. Первый заезд обычно бывал кратким — несколько предпраздничных дней, первомайские, кое-кто дотягивал до девятого. Потом небольшая пауза, и в двадцатых числах мая съезжались девочки — молодые матери с детьми дошкольного возраста.

Поскольку племянников было около тридцати, график составляли еще зимой: больше двадцати человек четырехкомнатный дом не выдерживал.

* * *

Медея не верила в случайности, хотя жизнь ее была полна многозначительными встречами, странными совпадениями и точно подогнанными неожиданностями. Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы повернуть судьбу, нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, который с годами делался все яснее.

В середине апреля, когда, казалось, погода устанавливалась, выдался сумрачный день, похолодало, пошел темный дождь, обещавший обернуться снегом.

Задержав занавески, Медея довольно рано зажгла свет и, бросив в свою умную печурку, которая брала мало топлива, но давала много тепла, два полена и немного хвороста, разложила на столе изношенную простыню и прикидывала, то ли порезать ее на кухонные полотенца, то ли, вырезав рваную середину, сшить из нее детскую простыню.

В это время в дверь крепко постучали. Она открыла. За дверью стоял молодой человек в мокром плаще и меховой шапке. Медея, приняв за одного из редких племянников,пустила его в дом.

— Вы Медея Георгиевна Синопли? — спросил молодой человек, и Медея поняла, что он не из родни.

— Да, это я, хотя уже сорок лет ношу другую фамилию, — улыбнулась Медея. Молодой человек был приятной наружности, со светлыми глазами и черными жидкими усиками, отпущенными книзу. — Раздевайтесь.

— Извините, как снег на голову. Равиль Юсупов, из Караганды...

Все дальнейшее, что произошло в этот вечер и в эту ночь, было изложено Медеей в письме, написанном, вероятно, на следующий же день, но так и не отправленном.

Много лет спустя оно попало в руки племяннику Георгия и объяснило ему загадку совершенно неожиданного завещания Медеи, найденного им в той же пачке бумаг и помеченного одиннадцатым апреля семьдесят шестого года. Письмо было следующее:

"Дорогая Еленочка! Хотя отправила тебе письмо всего неделю тому назад, произошло одно событие, которое действительно выходит из ряда вон, и об этом я и хочу тебе рассказать. Это из тех историй, начало которым положено давным-давно. Ты помнишь, конечно, возчика Юсима, который привез тебя с Армик Тиграновной в Феодосию в декабре восемнадцатого года? Представь себе, меня разыскал его внук через феодосийских знакомых. Удивительно, что и по сей день можно разыскать человека без всяких адресных книг. История довольно обыкновенная: их выселили из Алушты после войны, когда Юсима уже не было в живых. Мать Равиля с четырьмя детьми отправили в Караганду, это при том, что отец этих ребятишек погиб на фронте. Молодой человек с детства знает об этой истории — я имею в виду вашу эвакуацию — и помнит даже сапфировое кольцо, которое ты дала тогда Юсиму в благодарность. Мать Равиля многие годы носила его на руке, а в самые голодные времена променяла на пуд муки. Но это была только предварительная часть разговора, который, скажу тебе откровенно, меня тронул. Всплыло в памяти то, о чем мы не так уж любим вспоминать — о мытарствах тех лет. Потом Равиль мне открыл, что он участник движения за возвращение татар в Крым, что они давно уже

начали и официальные и неофициальные шаги.

* * *

Он расспрашивал меня о старом татарском Крыме с жадностью, даже вытащил магнитофон и записывал, чтобы мой рассказ могли услышать его казахстанские и узбекские татары. Я рассказала ему, что помнила, о бывших моих соседях по Поселку, о Галие, о дедушке Ахмете-арычнике, который с рассвета до заката чистил здешние арыки, каждую соринку, как из глаза, вытаскивал, о том, как выселяли здешних татар, в два часа, не дав и собраться, и как Шура Городкова, партийная начальница, сама их выселяла, помогала вещи складывать и плакала в три ручья, а на другой день ее разбил удар и она уж перестала быть начальницей, но лет десять еще ковыляла по своей усадьбе с кривым лицом и невнятной речью. В наших местах и при немцах, хотя у нас румыны стояли, ничего такого не было. Хотя, я знаю, евреев брали, но не в наших местах.

Рассказала я ему и про то, как в сорок седьмом, в половине августа, пришло повеление вырубить здешние ореховые рощи, татарами посаженные. Как мы ни умоляли, пришли дурни и срубили чудесные деревья, не дав и урожая снять. Так и лежали эти убитые деревья, все ветви в недозрелых плодах, вдоль дороги. А потом пришел приказ их пожечь. Таша с мужем из Керчи тогда у меня гостила, и мы сидели и плакали, глядя на этот варварский костер.

Память у меня, слава Богу, еще хорошая, все держит, и мы разговаривали за полночь, даже выпили. Старые татары, как помнишь, вина не брали.

Уговорились, что назавтра я поведу его по здешним местам, все покажу. И тут он мне высказал свою тайную просьбу: купить ему дом в Крыму, но на мое имя, потому что татарам, оказывается, домов не продают, есть на этот счет специальный указ, от сталинских еще времен.

Помнишь ли, Еленочка, каков был Восточный Крым при татарах! А Внутренний! Какие в Бахчисарае были сады, а сейчас по дороге в Бахчисарай ни деревца, все свели, все уничтожили... Только я постелила Равилю постель в Самониной комнате, как слышу, машина к дому подъехала. Через минуту — стучат. Он грустно так посмотрел на меня: это за мной, Медея Георгиевна.

Лицо у него сделалось усталым до крайности, и я поняла, что не такой уж он и молодой — хорошо за тридцать. Он вытянул из магнитофона ленту,

бросил в печь: неприятности у вас будут, простите меня. Я скажу им, что просто зашел на ночлег, и все... Ленточка эта, весь мой длинный рассказ, вмиг испарилась.

* * *

Пошла я открывать — стоят двое. Один из них — Петька Шевчук, сын здешнего рыбака, Ивана Гавриловича. Он мне, наглец, говорит: паспортная проверка — не пускаю ли я жильцов.

Ну, я ему отпустила по первое число: как ты смеешь ко мне в дом ночью вламываться? Нет, не пускаю я жильцов, но сейчас в доме у меня гость, и пусть они отправляются куда им будет угодно и до утра меня не беспокоят.

Свинья такая, посмел в мой дом прийти! Если ты помнишь, я всю войну больничку продержала, здесь вообще, кроме меня, никаких медицинских сил не было. Сколько я ему фурункулов перелечила, а один был в ухе, пришлось вскрывать. Я чуть от страха не умерла, шутка ли: пятилетний ребенок — и все признаки мозгового поражения, а я кто — фельдшер! Ответственность какая...

Они повернулись и ушли, но машина не уехала, стоит возле дома наверху, мотор выключили.

А мальчик мой татарский, Равиль, улыбается спокойно: спасибо, Медея Георгиевна, вы необыкновенно мужественный человек, редко такие встречаются.

Жаль, что вы мне не покажете завтра ни долину, ни Восточные холмы. Но я приду сюда, когда времена переменятся, я уверен.

Я достала еще одну бутылку вина, и спать мы уже не ложились, беседовали. Потом пили кофе, а когда рассвело, он умылся, я ему испекла лепешку, консервы дала московские, с лета еще оставшиеся, но он не взял, все равно, сказал, отберут. Проводила его до калитки, до самого верха. Дождь кончился, и было хорошо. Петька возле машины стоит, и второй с ним рядом.

Простились мы с Равилем, а у них уже и дверка распахнута. Вот, Еленочка, какая история приключилась. Да, шапку свою меховую он забыл. Ну, я думаю, и хорошо. Может, повернется еще вспять, вернутся татары и отдам я ему шапку-то? Право, это было бы по справедливости. Ну да как Бог рассудит. А пишу я тебе так спешно вот на какой случай: хотя никогда в жизни ни в какие политические истории не попадала, это Самон был по

этой части специалист, но, представь, вдруг в конце жизни, во времена послаблений, к старухе придерутся? Чтоб знала, где меня искать. Да, в прошлом письме забыла спросить, пришелся ли тебе впору новый слуховой аппарат. Хотя, признаться, мне кажется, что большая часть того, что говорят, не стоит того, чтобы слышать, и ты не много теряешь. Целую тебя. Медея".

* * *

Был конец апреля. Медеин виноградник был вычищен, огород уже напыжился всеми своими грядками, а в холодильнике два дня как лежала разрезанная на куски гигантская камбала, которую принесли ей знакомые рыбаки.

Первым появился племянник Георгий с тринадцатилетним сыном Артемом.

Сбросив рюкзак, Георгий стоял посреди дворика, морщился от прямого сильного солнца и вдыхал сладкий густой запах.

— Режь да ешь, — сказал он сыну, но тот не понял, о чем говорит отец.

— Вон Медея белье вешает, — указал Артем.

Дом Медеи стоял в самой верхней части Поселка, но усадьба была ступенчатая, террасами, с колодцем в самом низу. Там, между большим орехом и старым укусным деревом, была натянута веревка, и Медея, проводящая обыкновенно свой обеденный перерыв в хозяйственных хлопотах, развешивала сильно подсиненное белье. Темно-синие тени гуляли по голубому полотну латаных простыней, простыни медленно, парусообразно выгибались, грозя развернуться и уплыть в грубо-синее небо.

«Бросить бы все к черту и купить здесь дом, — думал Георгий, спускаясь вниз к тетке, которая все еще не заметила их. — А Зойка как хочет. Взял бы Темку, Сашку...»

Последние десять лет именно это приходило ему в голову в первые минуты в крымском доме Медеи... Медея наконец заметила Георгия с сыном, бросила в пустой таз последнюю свернутую жгутом простыню, распрямилась:

— А, приехали... второй день жду... Сейчас, сейчас я подымусь, Георгиу.

Одна только Медея звала его так, на греческий лад. Он поцеловал старуху, она провела ладонью по родным, черным с медью, волосам,

погладила и второго:

— Вырос.

— А можно там посмотреть, на двери? — спросил мальчик.

Дверная коробка по бокам была вся иссечена многочисленными зарубками — внуки метили рост.

Медея прицепила последнюю простыню, и она полетела, накрыв собой половину облачка, случайно забредшего в голое небо.

Георгий подхватил пустые тазы, и они пошли наверх: черная Медея, Георгий в мятой белой рубахе и Артем в красной майке.

А из соседней усадьбы, через чахлый и кривой совхозный виноградник, следили за ними Ада Кравчук, ее муж Михаил и их постоянца из Ленинграда, маленькая белая мышка Нора.

— Здесь народу собирается — тьма! Мендесихина родня. Вон Георгий приехал, он всегда первый, — не то с одобрением, не то с раздражением поясняла Ада постоялице.

Георгий был всего несколькими годами моложе Ады, в детские годы они вместе здесь хороводились, и Ада теперь недолюбливала его за то, что сама она постарела, расквашнела, а он все молод и даже седины не нажил.

Нора замороженно смотрела в ту сторону, где сходились балка, горушка, завивалась какая-то длинная складка земли и там, в паху, стоял дом с черепичной крышей и звенел промытыми окнами навстречу трем стройным фигурам — черной, белой и красной... Она любовалась пейзажем и думала с благородной грустью: написать бы такое... Нет, не справиться мне...

Была она художница, кончила училище не совсем блестяще, однако кое-что у нее получалось: акварельные летучие цветы, флоксы, сирени, легкие полевые букеты. Вот и теперь, приехав только что сюда на отдых, она все приглядывалась к глициниям и предвкушала, как поставит одни кисти, совсем без листьев, в стеклянную банку, на розовую скатерть и, когда дочка днем будет спать, сядет рисовать на заднем двореке у тети Ады... Однако этот изгиб пространства, его сокровенный поворот волновал ее, побуждал к работе, которая самой же и казалась не по плечу. А три фигуры поднялись к дому и скрылись из виду...

На маленькой площадке, как раз посередине между крыльцом дома и летней кухней, Георгий распаковывал две привезенные им коробки, а Медея распоряжалась, что куда нести. Момент был ритуальный. Каждый приезжающий привозил подарки, и Медея принимала их как будто не от своего имени, а от имени дома.

Четыре наволочки, два заграничных флакона с жидким мылом для

мытья посуды, хозяйственное мыло, которого в прошлом году не было, а в этом появилось, консервы, кофе — все это приятно волновало старуху. Она разложила все по шкафам и комодам, велела не раскрывать без нее второй ящик и поспешила на службу. Обеденный перерыв уже окончился, а опаздывать она обычно себе не позволяла.

Георгий поднялся на самый верх теткиных угодий, где, как сторожевая башня, еще покойным Мендесом была водружена деревянная будка уборной, вошел в нее и, сев без малейшей надобности на отскобленное добела деревянное сиденье, огляделся. Стояло ведро с золой, поломанный ковшик при нем, висела на стене выцветшая картонка с инструкцией по пользованию уборной, написанная еще Мендесом, со свойственным ему простодушным остроумием.

Заканчивалась она словами: уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть...

Георгий задумчиво глядел поверх короткой, закрывающей лишь нижнюю часть уборной, двери в образовавшееся выше прямоугольное оконце и видел двойную цепь гор, опускающуюся довольно резко вниз, к далекому лоскуту моря и развалинам древней крепости, различимым лишь острым глазом, да и то в ясную погоду. Он любовался этой землей, ее выветренными горами и сглаженными предгорьями, она была скифская, греческая, татарская, и хотя теперь стала совхозной и давно тосковала без человеческой любви и медленно вымирала от бездарности хозяев, история все-таки от нее не уходила, витала в весеннем блаженстве и напоминала о себе каждым камнем, каждым деревом... Среди племянников давно уже было установлено: лучший на свете вид открывается из Медеиногo сортира.

* * *

А под дверью переминался с ноги на ногу Артем, чтобы задать отцу вопрос, который — сам знал — задавать сейчас не стоило, но, дождавшись, когда отец вышел, все-таки спросил:

— Пап, а когда на море пойдем?

Море было довольно далеко, и потому обычные курортники ни в Нижнем поселке, ни тем более в Верхнем не селились. Отсюда либо ездили на автобусе в Судак, на городской пляж, либо ходили в дальнюю бухту, за двенадцать километров, и это была целая экспедиция, иногда на несколько дней, с палатками.

— Что ты как маленький, — разозлился Георгий. — Какое сейчас

море?

Собирайся, на кладбище сходим...

На кладбище идти Артему не хотелось, но выбора у него теперь не оставалось, и он пошел надевать кеды. А Георгий взял холщовую сумку, положил в нее немецкую саперную лопатку, подумал немного над банкой краски-серебрянки, но медленное это дело решил оставить на следующий раз. С вешалки в сарае он сдернул линялую шляпу из солдатского среднеазиатского комплекта, им же когда-то сюда привезенного, стукнул шляпой о колено, выбив облако мельчайшей пыли, и, заперев дверь дома, сунул ключ под известный камень, мимоглядно порадовавшись этому треугольному камню с одним раздвоенным углом — он помнил его с детства.

Георгий, в прошлом геолог, шел легким и длинным профессиональным шагом, за ним семенил Артем. Георгий не оглядывался, спиной видел, как торопится Артем, сбиваясь с шага на бег.

«Не растет, в Зойку пойдет», — с привычным огорчением подумал Георгий.

Младший сын, трехлетний Саша, был ему гораздо милей своим набыченным бесстрашием и непробиваемым упрямством, обещающими превратиться во что-то бесспорно более мужское, чем этот неуверенный в себе и болтливый, как девочка, первенец. Артем же боготворил отца, гордился его столь явной мужественностью и уже догадывался, что никогда не станет таким сильным, таким спокойным и уверенным, и сыновняя его любовь была горько-сладкой.

Но теперь настроение у Артема стало прекрасным, как если бы он уговорил отца пойти на море. Он и сам не вполне понимал, что важно было не море, а выйти вдвоем с отцом на дорогу, еще не пыльную, а свежую и молодую, и идти с ним куда угодно, пусть и на кладбище.

Кладбище шло от дороги на подъем. Наверху была разрушенная татарская часть с остатками мечети, восточный же склон издавна был христианским, но после выселения татар христианские захоронения стали подниматься по склону вверх, как будто и мертвые продолжали не праведное дело изгнания.

* * *

Вообще-то предки Синопли покоились на феодосийском греческом кладбище, но к тому времени оно давно было закрыто, а отчасти и снесено,

и Медея с легким сердцем похоронила мужа-еврея здесь, подальше от матери. Рыжая Матильда, добрая во всех отношениях христианка, истова православная, недолюбливала мусульман, боялась евреев и шарахалась от католиков.

Над могилой Медеиного мужа стоял обелиск со звездой в наверху и надписью, вырубленной на цоколе: «Самуил Мендес, боец ЧОН, член партии с 1912 года. 1890 — 1952». Надпись соответствовала воле покойного, звезду же Медея несколько переосмыслила, выкрасив серебрянкой заодно и острие, на которое она была насажена, отчего та приобрела шестой, перевернутый, луч и напоминала Рождественскую, как ее изображали на старинных открытках, а также наводила и на другие ассоциации.

Слева от обелиска стояла маленькая стелла с овальной фотографией круглолицего, улыбающегося умными узкими глазками Павлика Кима, пришедшегося Георгию родным племянником и утонувшего в пятьдесят четвертом году на городском судакском пляже на глазах у матери, отца и деда, старшего Медеиного брата Федора.

Придирчивому глазу Георгия не удалось найти неполадки, и Медея, как всегда, его опередила: ограда была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на Восточных холмах. Георгий для порядка укрепил бровку цветника, потом обтер штык лопаты, сложил ее и забросил в сумку.

Молча посидели отец с сыном на низкой лавочке, Георгий выкурил сигарету.

Артем не прерывал отцовского молчания, и Георгий благодарно положил ему руку на плечо.

Солнце клонилось к западному хребту, нацеливаясь в ложбинку между двумя округлыми горками, Близнецами, как шар в лузу.

В апреле солнце садилось между Близнецами, сентябрьское солнце уходило за горизонт, распарывая себе брюхо о шлык Киян-горы. Год от года высыхали источники, вымирали виноградники, приходила в упадок земля, и только профили гор держали каркас этого края, и Георгий любил их, как можно любить лицо матери или тело жены, — наизусть, с закрытыми глазами, навсегда.

— Пошли, — бросил он сыну и начал спуск к дороге, шагая напрямик, не замечая обломков каменных плит с арабской вязью.

Артему сверху показалось, что серая дорога внизу движется, как эскалатор в метро, он даже приостановился от удивления:

— Пап! — И тут же засмеялся: это шли овцы, заполняя буроватой

массой всю дорогу и выплескивая ее на обочину. — Я думал, дорога движется.

* * *

Георгий понимающе улыбнулся...

Они смотрели на течение медленной овечьей реки и были не единственными, кто наблюдал за дорогой: метрах в пятидесяти на пригорке сидели две девочки, подросток и совсем маленькая.

— Давай обойдем стадо, — предложил Артем.

Георгий согласно кивнул. Проходя совсем рядом с девочками, увидели, что разглядывают они совсем не овец, а какую-то находку на земле. Артем вытянул шею: между двумя жесткими сухими плетями каперсового куста торчком стояла змеиная кожа, цвета старческого ногтя, полупрозрачная, местами она была скручена, кое-где треснула, и маленькая девочка, боясь тронуть ее рукой, опасливо прикасалась к ней тонкой палочкой. Вторая же оказалась взрослой женщиной, это была Нора. Обе были светловолосые, обе в легких косынках, в длинных цветастых юбках и одинаковых кофточках с карманами.

Артем тоже присел возле змеиной кожи.

— Пап, ядовитая была?

— Полоз, — пригляделся Георгий, — здесь много их.

— Мы никогда такого не видели, — улынулась Нора. Она узнала в нем того — утреннего, в белой рубашке.

— Я в детстве здесь однажды змеиную яму нашел. — Георгий взял шуршащую кожу и расправил ее. — Свежая еще.

— Неприятная все же вещица, — передернула плечом Нора.

— Я ее боюсь, — шепотом сказала девочка, и Георгий заметил, что мать и дочь уморительно похожи — круглыми глазами и острыми подбородочками — на котят.

«Какие милые малышки», — подумал Георгий и положил их страшную находку на землю.

— Вы у кого живете?

— У тети Ады, — ответила детская женщина, не отрывая глаз от змеиной кожи.

— А, — кивнул он, — значит, увидимся. В гости приходите, мы вон там, — и он махнул в сторону Медеиной усадьбы и не оглядываясь сбегал вниз.

Вприпрыжку за ним понесся Артем.

Стадо тем временем прошло, и только арьергардная овчарка, в полном безразличии к прохожим, трусила по дороге, заваленной овечьим пометом.

— Ноги большие, как у слона, — с осуждением сказала девочка.

— Совсем не похож на слона, — возразила Нора.

— Я же говорю, не сам, а ноги... — настаивала девочка.

— Если хочешь знать, он похож на римского legionera. — Нора решительно наступила на змеиную кожу.

— На кого?

Нора засмеялась своей глупой привычке разговаривать с пятилетней дочкой, совершенно забывая о ее возрасте, поправилась:

— Глупость сказала! Римляне же брились, а он с бородой!

— А ноги как у слона...

* * *

Поздним вечером того же дня, когда Нора с Таней уже спали в отведенном им маленьком домике, а Артем свернулся по-кошачьи в комнате покойного Мендеса, Медея сидела с Георгием в летней кухне. Обычно она перебиралась туда в начале мая, но в этом году весна была ранняя, в конце апреля стало совсем тепло, и она открыла и вымыла кухню еще до приезда первых гостей. К вечеру, однако, похолодало, и Медея накинула выношенную меховую безрукавку, покрытую старым бархатом, а Георгий надел татарский халат, который уже много лет служил всей Медеиной родне.

Кухня была сложена из дикого камня, на манер сакли, одна ее стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие, не правильной формы окна были пробиты с боков. Висячая керосиновая лампа мутным светом освещала стол, в круглом пятне света стояли последняя сбереженная Медеей для этого случая бутылка домашнего вина и початая поллитровка яблочной водки, которую она любила. В доме был давно заведен странный распорядок: ужинали обыкновенно между семью и восемью, вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь бесполезной для пищеварения и приятной для души. И теперь, в поздний час, переделав множество домашних дел, Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу. У них было много общего: оба были подвижны, легки на ногу, ценили приятные мелочи жизни и не терпели вмешательства в их внутреннюю жизнь.

Медя поставила на стол тарелку с кусочками жареной камбалы. Широта ее натуры забавным образом сочеталась у нее со скупостью, порции ее всегда были чуть меньше, чем хотелось бы, но она могла спокойно отказать ребенку в добавке, сказавши:

— Вполне достаточно. Не наелся, возьми еще кусок хлеба.

Дети быстро привыкали к строгой уравниловке застолья, а те из племянников, кому уклад ее дома не нравился, сюда и не приезжали.

Подперев рукой голову, она наблюдала, как Георгий подкладывает в открытый очаг, примитивное подобие камина, небольшое поленце.

По верхней дороге проехала машина, остановилась и дала два хриплых сигнала. Ночная почта. Телеграмма. Георгий пошел наверх. Почтальонша была знакомая, шофер новый, молодой. Поздоровались. Она дала ему телеграмму:

* * *

— Что, съезжаются ваши?

— Да, пора уже. Как Костя-то?

— А чего ему сделается? То пьет, то болеет. Хорошая жизнь...

При свете фар он прочитал телеграмму: «Приезжаем тридцатого Ника Маша дети».

Он положил телеграмму перед Медеей. Она, прочитав, кивнула.

— Ну что, тетушка, выпьем? — Он открыл початую бутылку, разлил по рюмкам.

«Как жаль, — думал он, — что они так быстро приезжают. Как хорошо бы пожить здесь вдвоем с Медеей».

Каждый из племянников любил пожить вдвоем с Медеей.

— Завтра с утра воздушку натяну, — сказал Георгий.

— Как? — не поняла Медя.

— Электричество на кухню проведу, — пояснил он.

— Да-да, ты давно уж собирался, — вспомнила Медя.

— Мать велела с тобой поговорить, — начал Георгий, но Медя отвела известный ей разговор:

— С приездом, Георгиу, — и взялась за рюмку.

— Только здесь я себя чувствую дома, — как будто пожаловался он.

— И потому каждый год пристаешь с этим глупым разговором, — хмыкнула Медя.

— Мать просила...

— Да я письмо получила. Глупости, конечно. Зима уже кончилась, впереди лето. В Ташкенте не буду я жить, ни в зиму, ни в лето. И Елену к себе не приглашаю. В нашем возрасте не меняют мест.

— Я в феврале там был. Мать постарела. По телефону с ней теперь разговаривать невозможно. Не слышит. Читает много. Газеты даже. Телевизор смотрит.

— Твой прадед Харлампий тоже все газеты читал. Но тогда их не так много было. — И они надолго замолчали.

Георгий подбросил в огонь несколько хворостин, они сухо затрещали, и в кухне стало светлей.

Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плюнуть на потерянные десять лет, на несостоявшееся открытие, недописанную докторскую диссертацию, которая всасывала его в себя, как злая тряпина, как только он к ней приближался, но зато, когда он уезжал из Академгородка, от этой трухлявой кучи бумаги, она почти переставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забывал. Построил бы дом здесь...

Феодосийское начальство все знакомое, дети Медеиных друзей... Можно в Атузах или по дороге к Новому Свету, там маячит полуразрушенная чья-то дача, надо спросить у Медеи чья...

Медея думала о том же. Ей хотелось, чтобы именно он, Георгий, вернулся сюда, чтобы опять Синопли жили в здешних местах...

* * *

Они медленно пили водку, старуха подремывала, а Георгий прикидывал, как бы он пробил артезианский колодец; хорошо бы найти промышленный бур...

* * *

Елена Синопли, мать Георгия, принадлежала к знаменитой культурнейшей армянской семье и вовсе не помышляла о том, чтобы стать

женой простоватого грека из феодосийского пригорода, старшего брата задрушевной гимназической подруги.

Медея Синопли была немеркнувшей звездой женской гимназии; ее образцовые тетради показывали последующим поколениям гимназисток. Дружба девочек началась с тайного и горячего соперничества. В тот год — а это был год двенадцатый — семья Степанян не уехала, как обычно, на зиму в Петербург из-за легочной болезни младшей сестры Елены, Анаит. Семья осталась зимовать на своей даче в Судаке, а Елена с гувернанткой весь тот год прожила в гостинице в Феодосии и ходила в женскую гимназию, составляя острую конкуренцию Медеиной репутации первой отличницы. Толстенькая приветливая Леночка, казалось, не испытывала никакой нервозности и в соревновании как бы и не участвовала. Такое поведение можно было объяснить либо ангельским великодушием, либо гордыней сатанинской. Елена в грош не ставила свои успехи: сестры Степанян получали хорошее домашнее образование. Французскому и немецкому их учили гувернантки, к тому же раннее детство они провели в Швейцарии, где на дипломатической службе состоял их отец.

Обе девочки, и Медея, и Елена, окончили третий класс на круглые пятерки, но пятерки эти были разные: легкие, с большим запасом прочности у Елены и трудовые, мозолистые у Медеи. При всем неравном весе их пятерок на годовом выпуске они получили одинаковые подарки — темно-зеленые с золотым тиснением однотомники Некрасова с каллиграфической надписью на форзаце.

На следующий день после выпуска, около пяти часов, в дом Синопли приехало неожиданно семейство Степанян в полном составе. Все женщины дома во главе с Матильдой, убравшей свои потускневшие медные волосы под белую косынку, возле большого стола в тени двух старых тутовых деревьев готовили тесто для пахлавы. Наиболее простая часть операции, производимая на самом столе с помощью скалок, уже закончилась, и теперь они растягивали на руках огромный лист теста, слегка подкидывая его края на тыльных сторонах ладоней.

Медея вместе с остальными сестрами принимала в этом равноправное участие.

Госпожа Степанян всплеснула руками — в Тифлисе во времена ее детства готовили пахлаву точно так же.

— Моя бабушка это делала лучше всех! — воскликнула она и попросила передник.

Господин Степанян, поглаживая одной рукой седоватые усы, с доброжелательной улыбкой наблюдал за праздничной женской работой, любовался, как мелькали в пестрой тени обтертые маслом женские руки, как легко и нежно касались они тестяного листа.

Потом Матильда пригласила их в дом, они выпили кофе с засахаренными фруктами, и снова Армик Тиграновна умилилась детским воспоминаниям об этом сухом варенье. Общие кулинарные пристрастия, в корне своем турецкие, еще более расположили знаменитую даму к трудолюбивому дружному семейству, и казавшийся ей столь сомнительным проект — пригласить малознакомую девочку из семьи портового механика в качестве малолетней компаньонки своей дочери — показался ей теперь очень удачным.

Предложение было для Матильды неожиданным, но лестным, и она обещала сегодня же посоветоваться с мужем, и это свидетельство супружеского уважения в столь простой семье еще более расположило Армик Тиграновну.

Через четыре дня Медея вместе с Еленой была отправлена в Судак, на прекрасную дачу на берегу моря, которая и по сей день стоит на том же месте, переоборудованная в санаторий, не так далеко от Верхнего поселка, в который много лет спустя будут приезжать на лето общие потомки Армик Тиграновны и рыжей Матильды, так ловко раскатывающей тесто для пахлавы...

Девочки нашли друг в друге совершенство: Медея оценила благородное простодушие и сияющую доброту Елены, а Елена восхищалась Медеиной сдержанностью, самостоятельностью, мужским бесстрашием и особой женской одаренностью рук, отчасти унаследованной, отчасти перенятой от матери.

По ночам, лежа на немецких гигиенически-жестких складных кроватях, они вели длинные содержательные разговоры, сохранив с тех пор на всю жизнь глубокое чувство душевной близости, хотя в более поздние годы им так и не удалось вспомнить, о чем же таком заветном говорили они в то лето до рассвета.

Медея отчетливо помнила Еленин рассказ о том, как однажды ночью, во время болезни, ей привиделся ангел на фоне ставшей вдруг прозрачной стены, за которой она разглядела молодой, очень светлый лес. А у Елены в

памяти запечатлелись рассказы Медеи о ее многочисленных находках, которыми была так богата ее жизнь. Дарование это, к слову сказать, она полностью явила в то лето, собрав целую коллекцию крымских полудрагоценных камней. Еще один сохранившийся в памяти эпизод был связан с припадком смеха, который обуял их однажды ночью, когда они представили себе, что учитель пения, хромой жеманный молодой человек, женится на начальнице гимназии, огромной строгой даме, которую трепетали даже цветы на подоконнике.

* * *

К осени Елену увезли в Петербург, и тогда началась переписка и с некоторыми перерывами длилась уже более шестидесяти лет. Первые годы переписка велась исключительно на французском языке, на котором Елена в те годы писала значительно лучше, чем на русском. Медея прилагала немало усилий, чтобы достичь той же свободы, которую обрела ее подруга, гуляя с гувернанткой по бережку Женевского озера. Девочки, следу духовной моде тех лет, признаются друг другу в дурных мыслях и дурных намерениях (...и у меня возникло острое желание ударить ее по голове!... история с чернильницами была мне известна, но я промолчала, и думаю, что это была с моей стороны настоящая ложь...и мама до сих пор уверена, что деньги взял Федя, а меня так и подмывало сказать, что виновата была Галя, — и все это исключительно по-французски!). Эти трогательные самораскопки прерываются навсегда Медеиным письмом от десятого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года.

Это письмо написано по-русски, жестко и коротко. В нем сообщается, что седьмого октября вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль «Императрица Мария» и среди погибших числится судовой механик Георгий Синопли.

Предполагали, что это была диверсия. По обстоятельствам военного времени, перетекавшего в революцию и хаотическую войну в Крыму, корабль не смогли достать сразу же после его затопления, и только три года спустя, уже в советское время, заключение экспертов показало, что взрыв произошел действительно от взрывного устройства, помещенного в судовой двигатель. Один из сыновей Георгия, Николай, работал на подъеме затонувшего судна в команде водолазов.

В эти октябрьские дни Матильда донашивала своего четырнадцатого ребенка, собиравшегося родиться не в августе, как все ее остальные дети, а в середине октября. Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на девятый день после гибели Георгия последовали за ним.

Медея была первой, кто узнал о смерти матери. Она пришла утром к больнице, и вышедшая ей навстречу знакома санитарка Фатима остановила ее на лестнице и сказала ей на крымско-татарском, который в те годы знали многие жители Крыма:

— Девочка, не ходи туда, иди к доктору, он ждет тебя...

Доктор Лесничевский вышел ей навстречу с мокрым лицом. Он был маленький толстый старичок, Медея была выше его на голову. Он сказал ей, как говорят детям: «Золотко мое!» — и протянул руки вверх, чтобы погладить ее по голове... Они с Матильдой в один год начинали свое дело: она — рожать, а он — заведовать акушерским отделением, и всех ее детей он принимал сам.

* * *

Их осталось тринадцать. Тринадцать детей, только что потерявших отца, еще не успевших поверить в реальность его смерти. Те символические похороны погибших моряков, с оркестром и оружейными залпами, младшим детям казались каким-то военным развлечением вроде парада.

В шестнадцатом году смерть не настолько еще осуетилась, как в восемнадцатом, когда умерших от сыпного тифа хоронили во рвах, еле одетыми и без гробов. Хотя война шла уже давно, она была далеко, а здесь, в Крыму, смерть была еще штучным товаром.

Матильду обрядили, черным кружевом покрыли звонкие волосы и некрещеную девочку положили к ней. Старшие сыновья отнесли на руках гроб сперва в греческую церковь, а оттуда на старое кладбище, под бок Харлампию.

Похороны матери запомнил даже самый младший, двухлетний Димитрий. Через четыре года он рассказал Медее о двух поразивших его событиях того дня.

Похороны пришлось на воскресенье, и на более ранний час в церкви было назначено венчание. На узкой дороге, ведущей к церкви, свадебный поезд встретился с погребальным шествием. Произошла заминка, и неслим гроб пришлось сойти на обочину, чтобы дать проехать открытому

автомобилю, на заднем сиденье которого восседала, как муха в сметане, чернявая испуганная невеста в белейшем облаке свадебного наряда, а рядом с ней ее лысеющий жених. Это был чуть ли не единственный автомобиль в городе, принадлежащий богачам Мурузи, и был он зеленого цвета, — об этом автомобиле и рассказал Медее Димитрий. И когда мальчик напомнил ей, она вспомнила и сама.

Действительно, автомобиль был зеленым... Второй эпизод был загадочным.

Мальчик спросил у нее, как назывались те белые птицы, которые сидели возле маминой головы.

— Чайки? — удивилась Медее.

— Нет, одна побольше, а другая поменьше. И личики у них другие, не как у чаек, — объяснил Димитрий.

Больше ничего он вспомнить не мог.

В тот год было Медее шестнадцать. Пятеро было старших, семеро младших.

Двоих в тот день не хватало, самых старших, Филиппа и Никифора. Оба они воевали и оба впоследствии погибли, один от красных, другой от белых, и всю жизнь писала Медее их имена в одну строку в поминальной записке...

Приехавшая из Батума на похороны младшая сестра Матильды, вдовая Софья, рассудила взять к себе двух мальчиков из тех, что постарше. После мужа у нее осталось большое хозяйство, и со своими тремя дочерьми она с ним едва управлялась. Четырнадцатилетний Афанасий и двенадцатилетний Гавриил обещали стать в недалеком времени мужчинами, которых так не хватало в ее доме. Но не было им суждено поднять теткино хозяйство, потому что двум годами позже умная и дельная Софья продала остатки имущества и увезла всех детей сначала в Болгарию, потом в Югославию. В Югославии Афанасий, совсем еще неоперившийся юноша, стал послушником в православном монастыре, оттуда перебрался в Грецию, где на долгие годы и затерялись его следы. Последнее, что было известно о нем тетке, — что он живет в горах никому не известной Метеоры. Софья с дочерьми и Гавриилом прижилась в конце концов в Марселе, и венцом ее жизни был греческий ресторанчик, образовавшийся со временем из розничной торговли восточными сладостями, в частности пахлавой, тесто для которой так ловко растягивали ее проворные некрасивые дочери. Гавриил, единственный в семье мужчина, действительно подпирал весь дом. Он выдал замуж сестер, похоронил перед второй войной тетку и лишь после войны, уже далеко не молодым, женился на французке и родил

двух французов с веселой фамилией Синопли.

* * *

Десятилетнего Мирона забрал родственник со стороны Синопли, милейший Александр Григорьевич, содержатель кафе «Бубны» в Коктебеле, — он приехал на похороны Матильды и не собирался брать к себе в дом новых детей. Сердце дрогнуло. Через несколько лет мальчик умер от быстрой и непонятной болезни.

Спустя месяц Анеля, старшая сестра Медеи, самая, как считали, красивая из сестер, забрала шестилетнюю Настю к себе в Тбилиси, где жила с мужем, известным в то время музыкантом. Она была намерена взять и младших мальчиков, но они подняли такой могучий рев, что их решили пока оставить с Медеей. Осталась с Медеей также и восьмилетняя Александра, всегда очень к ней привязанная, а в последние дни просто от нее не отходившая.

Анеля была в смущении: как оставить троих малолетних на шестнадцатилетнюю Медею? Но вмешалась старая Пелагея, одноглазая нянька, всю жизнь прожившая в их доме и приходившаяся Харлампии дальней родственницей:

— Пока я на ногах, пусть меньшие растут в доме.

Так все и решилось.

Через некоторое время Медея получила сразу три письма из Петербурга — от Елены, Армик Тиграновны и Александра Арамовича. Его письмо было самым коротким: «Вся наша семья глубоко сочувствует Вам в постигшем Вас горе и просит принять то небольшое, чем мы можем помочь Вам в трудную минуту». «Тем немногим» оказалась очень значительная по тем временам сумма денег, половину которой Медея потратила на большой крест черного дорогого мрамора с выбитыми на нем именами матери и отца, тело которого растворилось в чистой и крепкой воде Понта Эвксинского, принявшего многих мореходов Синопли...

На этом самом месте, в тени дикой оливы, посаженной над могилой Харлампия, в двадцать шестом году, в октябрьские дни, задремав среди дня на лавочке, Медея увидела троих: Матильду в нимбе рыжих волос, не собранных в пучок, как при жизни, а празднично стоявших над ее головой, с голенькой розовоголовой девочкой на руках, но не новорожденной, а

почему-то трехлетней, и отца, седоволосого, с совершенно белой бородой и выглядевшего гораздо старше, чем помнила его Медея. Не говоря о том, что при жизни бороды он никогда не носил.

Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе и не дремала, во всяком случае, никакого перехода от сна к бодрствованию она не заметила, а в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый. Вдыхая этот волнующий запах, она догадалась, что своим появлением, легким и торжественным, а в особенности этим ароматом они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали от каких-то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя.

* * *

Прошло некоторое время, прежде чем она смогла описать это необыкновенное событие в письме к Елене.

«Вот уже несколько недель, Еленочка, как я не могу сесть за письмо, чтобы описать тебе одно необычное мистическое происшествие...»

Далее она переходит на французский: все русские слова, которые она могла бы здесь употребить, такие, как «видение», «явление», «чудо», оказались невозможны, и легче было прибегнуть к иностранному наречию, в котором богатство оттенков как бы отсутствует.

И пока она писала это письмо, снова откуда-то приплыл смолистый запах, который она почувствовала тогда на кладбище.

«Qu'en penses-tu?»(Что ты об этом думаешь? (франц.)) — закончила она своим каллиграфическим почерком, который во французском варианте делался решительней и острей.

Письма долго тряслись в брезентовых мешках в почтовых вагонах, и переписка отставала от жизни на два-три месяца. Через три месяца Медея получила ответ на посланное письмо. Это было одно из самых длинных посланий, написанных Еленой, и написано оно было тем же гимназическим почерком, так похожим на Медеин. Она благодарила ее за письмо, писала, что пролила много слез, вспоминая те ужасные годы, когда казалось, что все потеряно. Далее Елена признавалась, что и ей пришлось пережить подобную мистическую встречу накануне спешной эвакуации семьи в ночь с шестнадцатого на семнадцатое ноября восемнадцатого года.

"За три дня до этого мама перенесла удар. Вид у нее был ужасный, гораздо хуже того, что ты видела через три недели, когда мы добрались до Феодосии. Лицо ее было синим, один глаз закатился, мы с минуты на минуту ожидали ее смерти. Город простреливался, в порту шла бешеная погрузка штабов и гражданского населения. Папа был, как ты знаешь, членом Крымского правительства, оставаться ему было никак невозможно. Арсик болел одной из своих нескончаемых ангин, а Анаит, всегда такая жизнерадостная, плакала не переставая. Отец все время проводил в городе, приезжал на считанные минуты, клал руку маме на голову и снова уезжал. Обо всем этом я тебе рассказывала, кроме, может быть, самого главного. В тот вечер я уложила Арсика и Анаит, прилегла рядом с мамой и сразу задремала. Комнаты были все проходными, анфиладой, я не случайно об этом упоминаю, это существенно. Вдруг сквозь сон слышу, что кто-то входит. Отец, подумала я, но не сразу поняла, что вошли в правую дверь, изнутри квартиры, тогда как вход со стороны улицы был слева. Я хотела встать, дать отцу чаю, но меня как будто сковало, и рукой пошевелить не могла. Отец, как ты помнишь, был небольшого роста, а стоящий у двери был крупный человек и, как мне показалось, в халате. Видно было очень смутно — старик; лицо его было очень белым и как будто немного светилось. Было страшно, очень страшно, но, представь себе, интересно. Я поняла, что это кто-то близкий, родственник, и тут же как будто вслух мне сказали: прадед Шинарарян. Мама рассказывала тебе об этой удивительной ветви ее предков, которые строили все армянские храмы. Он как-то плавно приблизился ко мне и сказал внятно, певучим голосом: "Пусть все уезжают, а ты, деточка, останься."

В Феодосию поедешь. Ничего не бойся".

* * *

И тут я увидела, что он не полный человек, а только верхняя часть, а ниже туман, как будто призрак спешил и не успел целиком сложиться.

Так все и было, Медея. Обливаясь слезами, под утро расстались. Они уехали последним пароходом, я с мамой осталась. Через сутки город взяли красные. В эти ужасные дни, когда по городу шли расстрелы и казни, нас не тронули. Юсим, извозчик покойной княгини, в квартире которой мы жили все это время, сначала увез нас с мамой в пригород, к своей родне, а

через неделю посадил нас в фаэтон и повез. До Феодосии мы добирались две недели, и про эту поездку ты все знаешь. Ехала я к тебе как в родной дом, и только сердце мое оборвалось, когда мы увидели, что ворота вашего дома заколочены. Я не сразу догадалась, что вы стали пользоваться боковым входом.

Ни мама, ни папа мне никогда даже во сне не приснились, наверное, оттого, что сплю я слишком крепко, никаким сном до меня не достучаться.

Какое же счастье тебе, дорогая Медея, даровано — такой живой привет получить от родителей. Ты не смущайся, не пытай себя вопросами — зачем, для чего... Все равно мы сами не догадаемся. Помнишь, ты читала твой любимый отрывок из Апостола, про тусклое стекло? Все разъяснится со временем, за временем. В детстве, в Тбилиси, с нами Господь в одном доме жил, ангелы по комнатам гуляли, в Крыму руку над нами держал, а здесь, в Азии, все по-другому, он далеко отстоит от меня, и церковь здешняя как пустая... Но грех жаловаться, все хорошо. Наташа болела, теперь почти уже выздоровела, немного кашляет только. Федор уехал в поле на неделю. Есть у меня одна новость: будет еще один ребенок. Уже скоро. Ни о чем так не мечтаю, как о твоём приезде. Может, собрала бы мальчиков да приехала весной?.."

* * *

Медея всегда вставала очень рано, но в это утро прежде всех поднялся Артем. Солнце еще не рассиялось, утро было бледноватое, все в блестящей дымке, прохладное. Артем умывался у медного рукомойника, гремя подвижным соском. Через несколько минут, разбуженный медным бряцанием, вышел и Георгий. Позже всех на этот раз поднялась Медея.

Медея, человек вообще молчаливый, по утрам была особенно несловоохотлива, все это знали и вопросами донимали ее по вечерам. И в этот раз, кивнув, она прошла к уборной, а оттуда на кухню — разжечь керогаз. Воды в доме не оказалось, и она вынесла пустое ведро и поставила его к ногам Георгия. Это был один из обычаев дома: после захода солнца не ходить к колодцу. Из уважения к Медее и этот, и другие необъяснимые законы всеми жильцами строго соблюдались. Впрочем, чем закон необъяснимей, тем и убедительней.

Георгий спустился к колодцу. Это был глубокий каменный резервуар, сложенный татарами в конце прошлого века, — в этом наливном колодце хранилась привозная драгоценная вода. Сейчас она стояла низко, и Георгий, достав ведро, долго ее рассматривал. Вода была мутной и даже на глаз жесткой. Для него, родившегося в Средней Азии, крымское безводье было не в диковинку.

«Надо, надо будет артезианскую скважину пробить», — подумал он уже во второй раз со вчерашнего дня, поднимаясь к дому по неудобной лестнице-тропке, как будто приноровленной к шагу женщины, несущей на голове кувшин.

Медея поставила чайник и, метя подолом выцветшей черной юбки по глинобитному полу кухни, вышла. Георгий сел на лавку, разглядывая ровные пучки трав, свисающие с потолочной балки. Татарская медная утварь стояла на высоких полках, а по углам громоздились друг на друге огромные казаны.

Медный кунган венчал пирамиду. Вся эта утварь была грубей и проще узбекской, родственной, продававшейся на ташкентском базаре, но Георгий, обладающий глазом верным и несколько аскетическим, предпочитал эти, бедные, тем, многоработным, полным болтливости азиатского орнамента.

— Пап, а на море? — просунулся Артем.

— Вряд ли, — со скрытым раздражением бросил он сыну, отлично разбиравшемуся в оттенках отцовской речи.

Мальчик понял, что на море они не пойдут. По склонности характера ему бы поканючить, поныть, но, по тонкости души, уловившей благодать утренней тишины, он смолчал.

Пока вода согревалась на керогазе, Медея застилала свою постель, складывая подушки и одеяла в сундучок у изножья кровати, и бормотала коротенькое утреннее правило из совершенно стершихся молитвенных слов, которые, невзирая на их изношенность, неведомым образом помогали ей в том, о чем она просила, — принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь. Она с детства знала за собой это неприятное качество — обидчивость — и, так, давно с ней борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается. Только одна, давняя, многолетняя, обида сидела в ней глухой

тенью... «Неужели и в могилу унесу?» — мимолетно подумала она.

Добормотав последнее, она тщательно, выработанным за многие годы движением сплела косу, свила ее в узел, обмотала голову черной шелковой шалью, выпростала длинный хвост из-под пучка на шею и вдруг увидела свое лицо в овальном зеркале, обложенном ракушками. Собственно, каждое утро она повязывала перед зеркалом шаль, но видела только складку материи, щеку, воротник платья. Сегодня же — это было как-то связано с приездом Георгия — она вдруг увидела свое лицо и удивилась ему. С годами оно еще больше удлинилось, вероятно, за счет опавших, съеденных двумя глубокими морщинами щек. Нос был фамильный и с годами не портился: довольно длинный, но нисколько вперед не выдающийся, с тупо подрезанным кончиком и круглыми ноздрями. Ее лицо напоминало красивую лошадиную морду, особенно в те годы, когда вскоре после замужества она неожиданно остригла себе челку и ненадолго завела парикмахерскую прическу взамен вечного узла волос, тяжелого и утомлявшего шею.

Медея с некоторым удивлением разглядывала свое лицо — внимательно и строго, и поняла внезапно, что оно ей нравится. В отрочестве она много страдала от своей внешности: рыжие волосы, чрезмерный рост и чрезмерный рот; она стеснялась больших рук и мужского размера обуви, который носила...

«Красивая старуха из меня образовалась», — усмехнулась Меде и покачала головой. Слева от зеркала, среди выводка фотографий, из черной прямоугольной рамы смотрела на нее молодая пара — длиннолицая с низкой челкой женщина и пышноволосый, благородно-левантийского облика мужчина с чересчур большими для его худого лица усами.

И снова Медея покачала головой: чего было так убиваться в юности?

Хорошее лицо ей досталось, и рост хороший, и сила, и красота тела, — это Самуил, дорогой ее муж Самуил ей внушил... Она перевела взгляд на его большой портрет с траурной ленточкой в углу, с последней его фотографии увеличенный. Там он был все еще пышноволос, но две глубокие залысины подняли вверх его невысокий лоб, усы поскромнели и увяли, глаза смотрели мягко, и неопределенная ласковость была в лице.

«Все хорошо. Все прошло», — подумала Медея и, отогнав от себя тень старой боли, вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Комната ее для всех приезжающих гостей была священна, и без особого приглашения туда не входили.

Георгий уже сварил кофе. Он делал это точно так же, как Медея и как его мать Елена, — наука была общая, турецкая. Маленький медный

кофейник стоял в середине стола, на невычищенном подносе. Медея, при всей ее педантической аккуратности, не любила этого занятия — чистить медь. Может быть, оттого, что в патине она ей больше нравилась. Медея налила кофе в грубую керамическую чашку, из которой пила уже лет пятнадцать. Чашка была тяжелой и нескладной. Это был давний подарок племянницы Ники, одна из первых ее керамик, плод недолгого увлечения лепкой. Темно-сине-красная, в потеках запекшейся глазури, шершавая, слишком декоративная для ежедневного пользования, она почему-то полюбилась Медее, и Ника по сей день гордилась, что угодила тетке.

Делая первый глоток, Медея подумала о Нике, о том, что сегодня она придет с детьми и с Машей. Маша была ранней внучкой, а Ника — поздней дочерью сестры Александры, разница в годах невелика.

— Скорее всего, прилетят утренним рейсом, тогда будут здесь к обеду, — сказала Медея вслух, как будто ни к кому не обращаясь.

Георгий промолчал, хотя и сам думал в этот момент, не сходить ли ему на рынок за вином и какой-нибудь весенней радостью вроде зелени или мушмулы.

Нет, для мушмулы рано, прикинул он и через некоторое время спросил тетку, придет ли она к обеду. Та кивнула и в молчании допила кофе.

Когда она ушла, Артем попробовал было атаковать отца, но тот велел ему собираться на базар.

— Ну вот, то на кладбище, то на базар, — проворчал Артем.

— Не хочешь, можешь оставаться, — миролюбиво предложил ему отец, но Артем уже сообразил, что и на базар пойти тоже неплохо.

Через полчаса они уже шли по дороге. Оба были с рюкзаками, Артем в холщовой панаме, Георгий в брезентовой солдатской, которая придавала ему военно-авантюрный вид. Почти на том же месте, что и накануне, они снова увидели мать с дочерью, те опять были одеты в одинаковую одежду, но на этот раз женщина, сидя на маленьком складном стульчике, рисовала на каком-то детском мольберте.

Заметив их с дороги, Георгий крикнул, не купить ли им чего на базаре, но легкий ветерок отнес его слова в сторону, и женщина показала ему рукой, что не слышит.

— Ты сбегай к ним, спроси, не надо ли чего, — попросил он сына, и тот побежал вверх по склону, осыпая мелкие камешки.

Георгий с удовольствием смотрел вверх: трава была еще молодая, свежая, на взлобке холма дымился розово-лиловый тамариск, совсем безлиственный.

Женщина что-то говорила Артему, потом махнула рукой и сбежала

вниз, но не там, где поднимался Артем, а чуть выше, где склон обрывался над дорогой круто и трудно было спуститься на дорогу. Можно было разговаривать и оттуда, но ей почему-то хотелось спуститься, она замерла над маленьким обрывом.

Георгий протянул ей руку:

— Прыгайте!

Она присела на корточки и, держась за его руку, спрыгнула. Лицо ее было испуганным и серьезным.

Руки ее на ощупь оказались детскими, какими-то птичьими, но удивительно нежными. И ростом она оказалась не такая уж маленькая, доставала ему до плеча, как и жена Зоя.

— Картошки нам купите? Два кило, пожалуйста. Мне Таню оставить не с кем, а она туда не дойдет, устанет. И укропу пучок. Только у меня денег с собой нет. — Она говорила очень быстро, чуть-чуть пришепетывая, и розовела на глазах.

— Хорошо, хорошо, принесу. — Он хотел посадить ее, но она махнула маленькой рукой:

— Да я обойду, я просто сверху этого схода не заметила.

Она поднималась к дочке, стоявшей рядом с мольбертиком, сердце ее мчалось галопом, отдаваясь в горле.

Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Два кило картошки и пучок укропа...

Она поднялась на холм и увидела, как все изменилось за те несколько минут, что она спускалась к дороге: солнце наконец пробило блестящую дымку и тамариски, которые она пыталась нарисовать, уже не поднимались розовым паром, а плотно, как клюквенный мусс, лежали на гребне холма. Ушла вся нежная неопределенность пейзажа, а место, на котором она стояла, показалось ей вдруг тем неподвижным центром, вокруг которого и происходят движения миров, звезд, облаков и овечьих отар.

Но эта мысль не успокоила ее колотившееся сердце, оно все несло куда-то, обгоняя само себя, а взгляд независимо от нее впитывал округу, чтобы ничего не упустить, не забыть ни одной черты этого мира. О, если бы она могла, как в детстве, когда увлекалась ботаникой, сорвать и засушить, как приглянувшийся цветок, это мгновение вместе со всем принадлежащим ему реквизитом: дочкой возле мольберта, криво установленного в центре мироздания, цветущим тамариском, дорогой, по которой не оглядываясь идут два путника, и то, что открывалось впереди: горы, далекий лоскут моря, складчатая долина с бороздой давно ушедшей реки. И то, что было за ее спиной, и то, что не входило в окоем; позади

горбатых, состарившихся на этом месте холмов — столовые горы, аккуратные, с отсеченными вершинами, вытянувшиеся одна за другой, как послушные животные...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Родиной Валерия Бутонова было Расторгуево. Он жил со своей матерью Валентиной Федоровной в приземистом частном доме, давно грозившем развалиться. Отца не помнил. Мальчиком он был уверен, что отец погиб на фронте. Мать не особенно на этом настаивала, но и легенды не разрушала.

Недолгий муж Валентины Федоровны еще до войны нанялся по контракту куда-то на Север, прислал оттуда одно незначительное письмо и навсегда растворился в заполярных далях.

Все свое долгое детство Валера, как и большинство его сверстников, провел, висая на хлипких заборах или вбивая в стоптанную пригородную землю трофейный перочинный нож, главную драгоценность жизни. В занятии этом ему не было равных, все царства и города, разыгрываемые на вытертой площадке позади автобусной станции, он брал своим ножом легко и весело, как Александр Македонский. Соседские ребята, убедившиеся в его полном превосходстве, перестали играть с ним, и он проводил многие часы во дворе своего дома, засаживая ножичек в бледное бельмо спиленной нижней ветки огромной старой груши и отступая при этом все дальше и дальше от цели. За эти долгие часы он постиг мгновенье броска, знал его наизусть и кистью и глазом и испытывал наслаждение от огненного мгновенья этого соотнесения руки с ножом и желанной точки, завершавшееся дрожанием черенка в сердцевине цели.

Иногда он брал другой нож, тяжелый, кухонный, и выбирал другую цель, и нож с хрустом, или со стоном, или с тонким свистом входил в нее. Старый материнский дом, и без того ветхий, был весь в шрамах от его мальчишеских упражнений. Но совершенство оказалось скучным, и он забросил ножи.

Новые возможности открылись, когда он перешел из начальной школы в новую десятилетку, где было много диковинного: писуары, фарфоровые раковины, чучело совы, картина с голым, без кожи, человеком, стеклянные чудесные посудинки, железные приборы с лампочками. Но любимым и самым притягательным местом стал хорошо — по тем временам — оборудованный спортивный зал.

Перекладина, брусья и кожаный конь стали его любимыми предметами с пятого класса.

В нем открылась античная телесная одаренность, столь же редкая, как

музыкальная, поэтическая или шахматная. Но тогда он не знал, что его талант ценится ниже, чем дарования интеллектуальные, и наслаждался успехами, все более заметными с каждым месяцем. Преподавательница физкультуры направила его в секцию ЦСК, и к Новому году он уже участвовал в первых соревнованиях.

Тренеры изумлялись его феноменальной хватке, врожденной экономности движений и собранности — он сразу приходил к результатам, которые обыкновенно вытаптываются годами.

К четырнадцати годам он был замечательно сложенный юноша, с правильным лицом, коротко, по спортивной моде, остриженный, дисциплинированный и честлюбивый. Он состоял в юношеской сборной, тренировался по программе мастеров и нацеливался на предстоящих всесоюзных соревнованиях занять первое место.

Но первого места на всесоюзных соревнованиях он не получил.

Он не знал важных вещей, прекрасно известных его тренеру: тайной механики успеха, высоких покровительств, судейских зажимов, бесстыдства и продажности в спорте. Две десятые балла, отодвинувшие его на второе место, показались ему столь жестокой несправедливостью, что он, скинув с себя в раздевалке бесплатное цээсковское барахлишко, поехал в Расторгуево в школьных брюках на голое тело.

Один из его старших сотоварищей — Бутонов был в сборной самым юным — раскрыл ему тайную сторону этого несправедливого поражения. Это был сговор, и тренер был припутан. Того, кто получил первенство, тренировал зять главы федерации, и судейская коллегия была предвзята — не то чтобы купленная, но связанная по рукам и ногам. Теперь Валерий и сам прозрел.

Начались летние каникулы, ни на какие сборы он не поехал. Целыми днями он лежал под грушей, все обдумывая, как так произошло то, что произошло, и получил через неделю откровение: нельзя ставить себя в положение зависимости от других людей или от обстоятельств. Окажись над ним смоковница, может быть, откровение имело бы более возвышенный характер, но от русской груши большего ждать не приходилось.

Через две недели он был зачислен в цирковое училище. Какое же это было чудо! Каждый день Бутонов приходил на занятия — и каждое утро испытывал восторг пятилетнего мальчика, впервые приведенного в цирк. Учебный манеж был вполне настоящий: так же пахло опилками, животными, тальком. Шары, разноцветные кегли и стройные девушки летали в свободном воздухе. Это был особый, единственный в своем роде

мир — вот что чувствовал Бутонов каждой клеткой своего тела. О соревновании не могло быть и речи, каждый стоил столько, сколько стоила его профессия: воздушный гимнаст не мог плохо работать, он рисковал жизнью. Никакое родство с начальством не могло остановить медведя, когда он, со своей неподвижной, совершенно лишенной мимики мордой, встав на дыбы, шел ломать дрессировщика могучими лапами и чугунными когтями драть с него мясо. Никакая поддержка сверху, никакой телефонный звонок не помогали крутить обратное сальто.

«Это не спорт, — размышлял опытный Бутонов, — в спорте продажность, здесь — не так».

Он не смог бы сам до конца это сформулировать, но глубоко понимал, что на вершине мастерства, в пространстве абсолютного владения профессией, располагается крошечная зона независимости. Там, на вершине Олимпа, находились звезды цирка, свободно пересекающие границы стран, одетые в невообразимо прекрасную одежду, богатые, независимые.

Цирковое училище и по сей день вспоминает Бутонова. Всю цирковую науку он осваивал играючи — акробатику, жонглирование, эквилибр, и каждая из этих наук претендовала на Бутонова. В гимнастике ему не было равных.

С первых же месяцев учебы его звали в готовые номера. Он отказывался, потому что уже точно знал, кем он хочет быть — воздушным гимнастом. Все, что он ни делал, он соизмерял с броском ножа, со знакомым ему с детства мгновением истины — дрожанием черенка ножа в сердцевине цели...

Учителем Бутонова был теперь немолодой циркач смутной крови из цирковой династии, с внешностью и повадками плебейского корабейника, но с итальянским именем Антонио Муцетони. По-простому звали его Антоном Ивановичем. Родился он в трехосном фургоне, на линиях сине-красной попоне шапито, по дороге из Галиции в Одессу, от наездницы и акробата. Многие глубокие морщины вдоль и поперек покрывали его лицо и были столь же затейливы, как и многочисленные истории, которые он о себе рассказывал.

К концу второго года обучения Бутонов сильно преуспел в знаниях, умениях и красоте. Он все более приближался к собирательному облику строителя коммунизма, известному по красно-белым плакатам, нарисованным прямыми линиями, без затей, горизонтальными и вертикальными, с глубокой поперечной ямкой на подбородке. Некоторая недоработка намечалась в малоприметной утиной вытянутости носа к

кончику, но зато разворот плеча, неславянская высота ног и невесть откуда взявшееся благородство рук... и при всем этом неслыханный иммунитет к женскому полу.

А цирковые девочки, как прежде школьные, липли к нему. Все здесь было так обнаженно, так близко: выбритые подмышки и паховые складки, мускулистые ягодички, маленькие плотные груди. Его сверстники, юные циркачи, наслаждались плодами сексуальной революции и артистической свободы, процветающей на задних дворах социализма, в оазисе Пятой улицы Ямского Поля, а он смотрел на девочек брезгливо и насмешливо, как будто дома, в Расторгуеве, поджидала его каждый вечер на продавленном диване сама Брижит Бардо.

Антон Иванович вводил его в программу своего сына. Джованни — Ваня, хотя и не обладал талантом отца, был отцовской выучки, с малолетства летал под куполом цирка, крутил свои сальто, но истинной страстью его были автомобили. Он был одним из первых цирковых, кто ввез в Россию иномарку — красный «фольксваген», устаревший для Германии, но опережавший медленно текущий отечественный прогресс на три десятилетия.

Заботливо подложив под свою дорогостоящую спину старое одеяло, он часами пролеживал под машиной, а его злая блядовитая жена Лялька язвила:

— Если бы я под ним столько лежала, сколько он под своей машиной, цены б ему не было...

С отцом у младшего Муцетони отношения были непростые. Хотя сыну было сильно за тридцать и в глазах Бутонова он был уже не молод, да и по цирковым понятиям это был уж возраст, пенсионный для «воздуха», отца он боялся, как мальчишка. Много лет они работали вместе, Антон Иванович побил все рекорды циркового долгожительства под куполом, осваивал одним из первых самые рискованные трюки. Ваня же был спокоен и неинициативен. Однажды в присутствии Бутонова Антон Иванович сказал с раздражением:

— Что Ваня умеет делать в совершенстве, так это падать...

Эта часть профессии была чрезвычайно важна: работали они под куполом, и хотя страховка была двойная — лонжи, пристегнутые к поясам карабинами, и сетка, — разбиться можно было и об сетку. Младший Муцетони был виртуозом падения, старший, по своей природе, первопроходцем. Когда-то он был первым, кто освоил тройное сальто с пируэтом, и только один гимнаст, Н. Н., через несколько лет стал повторять этот номер. Сейчас, когда все цирковые готовились к большому цирковому

фестивалю в Праге, Антон Иванович приступил к сыну как с ножом к горлу: восстановить тот старый номер, с которым он прославился еще до войны. С неохотой подчинился Джованни отцу — заставил-таки его старик работать с полной отдачей. У Валерия, постоянно присутствующего на репетициях, просто мышцы дрожали — так хотелось ему себя попробовать в этом длинном и сложном полете, но Антон Иванович и говорить об этом не хотел. Держал его в паре с племянником Анатолием, делали они встречные полеты синхронно, четко, но этим никого нельзя было удивить — все воздушные гимнасты этот номер работали.

Подготовка была длинной, репетиции заняли полгода, но наконец настал день, когда поехали в Измайлово, в Центральную дирекцию, сдавать программу художественному совету. Решалась поездка в Прагу — для Бутонова первый выезд за рубеж.

В дирекции стояла большая суматоха — съезд цирковых звезд и циркового начальства. Все нервничали. Время уже близилось к показу, Антон Иванович полез наверх, осмотреть крепеж, который частично был за куполом, и дотошно проверял каждую гайку, каждый болт, прощупывал тросы. Инспектором манежа был старый его конкурент Н. Н., и хотя должность его была такова, что он своей свободой отвечал за технику безопасности, Антон Иванович был в напряжении.

Ване была отведена отдельная уборная, Валерию с Толей — другая, в третьей разместились женщины, их было трое: две молодые гимнастки и двенадцатилетняя Нина, дочь Вани, несомненная будущая прима. Артисты уже надевали малиновые с золотыми звездами трико, когда Валерий услышал из коридора ругань: какой-то въезд был перекрыт Ваниной машиной, фура не могла проехать. Ваня что-то отвечал, голос что-то требовал. Анатолий подошел к двери, послушал:

— Чего они к нему привязываются, нормально он поставил...

Валерий, не вмешивающийся в чужие дела, даже не выглянул. Все затихло.

Через несколько минут в их уборную постучали, всунулась Нина:

— Валер, тебя Тамара зовет.

Тамара, молодая гимнастка, подкатывалась: это Валере одновременно и льстило, и раздражало.

Валерий заглянул к ней.

— Валер, как тебе мой грим? — подставила она свое круглое личико под Валерин взгляд, как под солнышко. Грим был обыкновенный, как всегда: желтовато-розовая основа, а на ней два нежно-малиновых крылышка искусственного румянца да густообведенные синим, подтянутые

к вискам глаза.

— Нормально, Тамар. Модель «очковая змея»...

— Да ну тебя, Валер, — кокетливо передернула заливной лаком, как у пупса, головой Тамара, — всегда только гадости говоришь!

Валерий развернулся, вышел в коридор; из двери Ваниной гримуборной вышел седой человек в комбинезоне и клетчатой шотландской рубашке. Валерий не обратил тогда на это внимания и вспомнил об этой встрече в коридоре значительно позже. Через десять минут был выход.

Все шло точно, было разыграно по секундам: вырубка музыки, свет, прыжок, вырубка света, толчок, трапеция, дробь, пауза, музыка, свет...

Партитура была вытвержена, даже до вдоха-выдоха, и все шло отлично. Джованни в этом номере берегся, стоял враспор, под куполом, на верхотуре, как бог, держал на себе свет, пока молодежь порхала. Работали чисто, грамотно, но ничего выдающегося не было; «коронка» — тройное сальто с пируэтом — была за Джованни. Не все члены художественного совета видели этот номер, он уже лет десять не исполнялся.

В режиссуре старый Муцетони очень понимал, все обставил эффектно: свет гибкий, плавает, музыка поддерживает, потом разом — полный обрыв, весь свет на Джованни, под купол, арена в темноте, вырубка музыки на самом максимуме звучания. Джованни весь блестит, голова в золоте, на ногах — поножи: хороший художник ему придумал такую обувь, чтобы скрыть врожденную кривоноготь. Тихая дробь. Джованни вскидывает золотую голову — демон, чистый демон... Мгновенное движение руки к поясу — проверка карабина.

Валерий ничего не заметил, а у Антона Ивановича чуть сердце не остановилось — слишком долго он карабин проверяет, что-то не так... Но пока все во времени, без опоздания. Дробь смолкла. Раз, два, три... лишняя секунда... трапеция уходит назад... замерла... толчок... прыжок... Джованни еще в полете, и никто еще ничего не понял, но Антон Иванович уже видит, что группировка не завершена, что не докрутит он последнего переворота... точно...

Толя вовремя посылает ему трапецию, но Ваня мажет сантиметров на двадцать, не успевает, тянется в полете за трапецией, пытается догнать — чего никогда не бывает — и вылетает из отработанной геометрии, летит вниз, к самому краю сетки, куда приземляться опасно, где натяжение всего сильнее — тряхнет, сбросит... Об край... точно...

Сетка спружинила, подбросила Ваню — не наружу, внутрь, внутрь. Умеет все-таки падать... Провал, конечно, провал... но не разбился...

Но — разбился. Опустили сетку. Первым подскочил Антон Иванович, схватился за карабин — собачка была ослаблена. Он тихо выругался. Ваня был жив, но без сознания. Травма тяжелая — череп, позвоночник? Положили на доску. «Скорая» пришла через семь минут. Повезли в лучшее место по черепным травмам — в Институт Бурденко. Антон Иванович поехал с сыном.

Валерий увидел своего мастера только через две недели. Известно было, что Ваня жив, но неподвижен. Врачи колдовали над ним, но не обещали, что поднимут на ноги.

Антон Иванович исхудал так, что стал похож на борзую. Черная мысль не покидала его: он не мог объяснить себе, как случилось, что Ваня заметил ослабевший карабин только перед самым прыжком. Про себя он знал, что его такой случай не сбил бы, смог бы нервы удержать. Да и было у него когда-то такое же, сходное, когда снял он с себя пояс, отстегнулся и пошел... А Ваня психанул, потерялся — и «рассыпался»... Странность была еще и в том, что перед самым выходом вызвали его переставлять машину, хотя стояла она на месте, Антон Иванович потом сам проверял: проходила фура...

Когда Антон Иванович свое неясное подозрение высказал Валерию, тот выдавил из себя:

— А к Ване не только рабочие с хоздвора приходили...

Антон Иванович схватил его за рукав:

— Говори...

— Когда он ушел машину переставлять, к нему в уборную Н. Н. заходил.

То есть я из коридора видел, как он оттуда выходил.

К этому времени Валерий уже знал, что человек в шотландской рубашке и был инспектор манежа Н. Н.

— Е-мое.. хорош же я, старый дурак, — схватился за свое обвислое лицо Антон Иванович. — Вот оно какое дело... Самое оно...

Валерий навел Ваню в госпитале. Тот был в гипсе, как в саркофаге, — от подбородка до крестца. Волосы поредели, две глубокие залысины поднялись ото лба вверх. Моргнул — привет.

Почти не разговаривал. Валерий, проклиная себя, что пошел, просидел минут десять на белой гостевой табуретке, пытался что-то рассказать. Беме — и замолчал. Он не знал до этого, как хрупок человек, и ужасался.

Стояла глухая мокрая осень. Расторгуевская груша облетела, стала черная, как будто горелая, и не мог Бутонов полежать под ней, послушать, не явится ли ему новое откровение. До окончания училища оставалось

полгода.

Прага, на которую Бутонов огромные надежды возлагал, пролетела. Пролетало и училище. Тусклые Ванины глаза не выходили из головы Валерия. Вот только что был Ваня — Джованни Муцетони, знаменитый артист, каким хотел быть Бутонов: богатым, независимым, выездным, — и машина под ним ходила самая лучшая из всех, что Бутонов видел, — давно уже не красный горбатый «фольксваген», а новенький белый «фиат». И так все рухнуло, в один миг. Не было, оказывается, никакой независимости — одна видимость. И неподвижное инвалидство до самой смерти...

Зимнюю сессию, последнюю, Бутонов сдавать не пошел. Были в училище кроме специальных обыкновенные школьные предметы, и диплом без сдачи этих презренных наук не давали. Бутонов вообще больше не пошел в училище. Полгода пролежал на диване, ожидая повестки в армию. В феврале ему исполнилось восемнадцать, и в начале мая его забрили. Предложили сначала идти в ЦСК — сработал его первый разряд по гимнастике, но он, к большому изумлению военкома, отказался. Все Бутонову было безразлично, но в спорт возвращаться он не хотел. Пошел как все...

Вернулся он в Расторгуево через три года, прибавив восемь килограммов весу и три сантиметра росту, и дембель его был аккуратен, без затяжек, почти день в день. И что самое существенное, он опять точно знал, что ему надо делать. Наскоро и без труда он получил в экстернате диплом об окончании школы и в то же лето был зачислен в Институт физкультуры. Всех перехитрил — на лечфак.

Настоящий учитель встретился Бутонову в институте, на третьем курсе.

Это был мелкий, неказистый человек, из кавэжэdistов, с маскировочной фамилией Иванов, с темным и извилистым прошлым. Родился он, как сам говорил, в Шанхае, знал в совершенстве китайский, годами жил в Индии, посещал Тибет и представлял в нашей полу-Европе таинственную Азию. Он знал толк в восточных единоборствах, которые тогда только входили в моду, и преподавал китайский массаж.

Иванов восхитился необыкновенным бутоновским чутьем к телесности; в пальцах его было много независимости и ума, он мгновенно схватывал, где смещение дисков, где гребешок отложения солей, где просто мышечная контрактура.

Если бы Бутонову хватало слов и определенной гуманитарной культуры, он мог бы рассказать о бодром настроении спины, о радости ног, об уме пальцев, так же как и о лени в плечах, нерасположенности к

усилиям бедер или сонливости рук, и все эти особенности жизни тела в данный момент он умел распознавать в лежащем перед ним на массажном столе человеке.

Иванов пригласил его в гости в полупустую однокомнатную квартиру, увешанную тибетскими иконами. Тонкий знаток Востока, он пытался заинтересовать незаурядного ученика благородной йогой, мудрой «Бхагавад-гитой», изящным китайским учением ба-гуа. Но к области духа Бутонов оказался совершенно глух.

— Это все слишком умственное, — говорил он и делал легкое движение правой кистью.

Учитель был разочарован. Зато практическую йогу и китайский точечный массаж Бутонов освоил очень быстро и со всеми нюансами. Сам Иванов имел в те годы большой успех не только как великий массажист, услугами которого пользовались разные редкие знаменитости — чемпион мира по поднятию тяжестей, гениальная балерина, скандальный писатель. Он участвовал в разных семинарах на дому — изысканных развлечениях тех лет, — вел специальные занятия по йоге. Он и Бутонова привлек к своей деятельности, по крайней мере к той ее части, которая видна была с поверхности. К другой, осведомительской, стороне его деятельности Бутонов был непричастен и только через многие годы вообще смекнул, какие погоны невидимо лежали на учительских плечах.

Учитель произвел Бутонова в помощники. Он вел любителей йоги, своих слушателей, высоким путем освобождения прямо в мокшу, а Бутонов корячился на коврике, обучая их позе лотоса, льва, змеи.

Одна из групп собиралась в большой квартире большого академика, у академической дочери. Участники собрания все, как один, были сделаны из тестообразной плоти, и Бутонов должен был обучить их тому самочувствию тела, в котором сам так преуспел. Все они были ученые — физико-химико-математики, и Бутонов испытывал ко всем совершенно необъяснимое чувство легкого презрения. Среди них была высокая полная девушка Оля, математик, с тяжелыми ногами и грубоватым лицом, которое из нежного природно-розового во время упражнений становилось угрожающе красным. Через два месяца после знакомства, к неодобрительному изумлению друзей с обеих сторон, они поженились. Хозяйка квартиры, узнав о намечающемся брачном союзе, щелкнула языком:

— И что с этим роскошным зверем будет делать бедная Олечка!

Но Оля с ним ничего особенного не делала. Она была человеком довольно холодным и головным: к этому времени она уже защитила

диссертацию по топологии — заповедной области математики, и ювелирная умственная работа была главным содержанием ее жизни.

Валерий не испытывал особого почтения к маленьким крючкам, которые, как птичьи следы на снегу, покрывали бумаги на женином столе, он только хмыкал, глядя на лист, покрытый мелкими значками и редкими человеческими словами с левой стороны: определение, пример, предложение, задача...

Характер у Ольги был покладистый, немного вялый. Валерий бесконечно удивлялся ее малоподвижности и бытовой лени: она ленилась делать даже те несколько йоговских упражнений, которые избавляли ее от запоров.

Валентина Федоровна, Валерина мать, невестку невзлюбила, во-первых, за то, что она была четырьмя годами его старше, а уж во-вторых — за бесхозяйственность. Но Оля только равнодушно улыбалась и даже, к досаде Валентины Федоровны, этого нерасположения просто не замечала.

Супружеские радости были весьма умеренными. Валерий, с детства устремленный к мускульным удовольствиям, совершенно упустил из виду ту небольшую группу мышц, которая ведает сугубыми наслаждениями. Естественно, за достижения в этой области не присуждали разрядов, не включали в сборные, и его инстинкты отступали перед юношеским тщеславием. Была еще одна причина, способствующая его удивительной сдержанности по отношению к женщинам: они влюблялись в него с той самой минуты, как на него надели первые штанишки, облако их изнурительной влюбленности преследовало его, а в более старшем возрасте он стал ощущать этот постоянный интерес как посягательство на его тело и отчаянно оберегал свое лучшее достояние, и ценность его собственного тела еще более подчеркивалась удивительной доступностью женских прелестей и множеством предложений.

Все было спокойно и складно в бутоновской семейной жизни. Поженились они спустя три месяца после Ольгиной защиты диссертации, еще через три месяца она забеременела, а за три месяца до своего тридцатилетия родила дочку. Покуда она носила, рожала и кормила большой и маломощной, с продовольственной точки зрения, грудью очень маленькую девочку, родившуюся от двух таких крупных родителей, Бутонов закончил институт и продался теннисистам. Он следил за здоровьем самых здоровых людей планеты, лечил их травмы, разминал мышцы. В свободное время он делал то же самое, но уже частным образом. Зарабатывал хорошие деньги, был независим. Круг пациентов он получил от учителя, и все двери для него были открыты: от ресторана ВТО до

цековской билетной кассы. Через год большой теннис вывез-таки его за границу, сначала в Прагу — добрался до нее Бутонов! — а потом и в Лондон.

Это все, о чем можно было мечтать.

К чести Бутонова надо сказать, что свои высокие гонорары брал он за дело. Он поддерживал тела своих подопечных — спортсменов, балерин и артистов — в безукоризненной форме, но кроме того, он занимался тяжелой посттравматической реабилитацией. Про него говорили, что он совершает чудеса. Легенда о его руках росла, но сам он, хорошо зная ей цену, работал, как когда-то в спорте, на границе своих возможностей, и граница эта мало-помалу отодвигалась. Лучшим своим достижением он считал безнадежного Ваню Муцетони, с которым работал с тех самых пор, как Иванов показал ему первые приемы и подходы к позвоночнику. Бутонов не раз привозил к Муцетони Иванова, Иванов присылал как-то великого китайца, прижигавшего Ванину спину пахучими травными свечами. Но главная работа была бутоновская: шесть лет подряд два раза в неделю, почти без пропусков, он шаманил над Ваниной спиной, и тот встал, мог пройти по квартире, опираясь на специальный снаряд, и медленно, очень медленно стал восстанавливаться.

Как-то в середине октября он приехал к Муцетони хмурый, не в настроении, полтора часа отработал с Ваней и собрался уходить — без чаю-кофе, как было заведено. Ванина жена Ляля его задержала, принесла чай, разговорила.

Бутонов пожаловался, что завтра ему надо ехать в дурацкую поездку — в никому не нужный город Кишинев, на показательные выступления с группой спортсменов.

Лялька вдруг засуетилась, обрадовалась:

— Поезжай-поезжай, там сейчас чудо как хорошо, а чтоб ты не соскучился там, я поручение тебе дам: отвезешь моей подружке подарок. — Она порылась в шкафу и вытащила белый мохеровый свитер. — Они в пригороде живут, знаменитая конная группа Човдара Сысоева. Не слыхал? Старый страшный цыган, а Розка — наездница. — Лялька сунула свитер в пакет и написала адрес.

Бутонов без большой охоты взял посылочку.

...Первый день в Кишиневе был у Бутонова свободным, и, переночевав в гостинице, рано утром он вышел на улицу и пошел по незнакомому городу в указанном направлении — к городскому базару. Город был невзрачный, лишенный даже намека на архитектуру, по крайней мере в той части, которая открывалась Валерию в утреннем, тающем на

глазах тумане. Но воздух был хороший, южный, с запахом сладких гниющих на земле плодов. Запах приносился откуда-то издали, потому что на улицах новой застройки не было никаких деревьев, только красные и багровые астры, целиком ушедшие в цвет и не имеющие никакого аромата, росли из прямоугольных газонов, обложенных бетонными плитами. Было тепло и курортно.

Валерий дошел до базара. Вozy и арбы, лошади и волю запрудили небольшую площадь, невысокие мужики в теплых меховых шапках и в вислых усах таскали корзины и ящики, а бабы устраивали на прилавках горки из помидоров, винограда и груш.

«Надо бы домой взять», — бегло подумал Валерий и увидел прямо перед собой помятый зад автобуса с нужным ему номером. Автобус был пустой. Валерий сел в него, через несколько минут в кабину влез водитель и, ни слова не говоря, тронул.

Дорога довольно долго шла по пригороду, который все хорошел, мимо мазаных домиков, садов, маленьких виноградников. Остановки были частыми, по пути набились дети, потом все разом вышли возле школы. Почти через час добрались до конечной остановки в странном промежуточном месте — не городском и не деревенском.

Валерий еще не знал, какой важный день в его жизни начался сегодня утром, но почему-то прекрасно запомнил все несущественные подробности. Два маленьких заводика стояли с обеих сторон дороги и дымили, совершенно пренебрегая законами физики, согласно которым ветер должен был бы относить их сивые дымки в одном направлении, а они почему-то дымили в лицо друг другу. Наблюдательный Бутонов пожал плечами. Вдоль дороги рядами выстроились теплицы, и это тоже было странно: на черта здесь теплицы, когда в конце октября двадцать градусов и без стекол все отлично поспевает...

Дальше вдоль дороги стояли хозяйственные постройки и конюшня. Туда и направился Бутонов. Издали он увидел, как открылись ворота конюшни, проем наполнился бархатной чернотой и из него, скаля белые зубы, вышел высокий черный жеребец, который от неожиданности показался Бутонову огромным, как конь под Медным всадником. Но никакого Медного всадника не было и в помине, жеребца вел в поводу маленький кудрявый мальчишка, который при ближайшем рассмотрении оказался молодой женщиной в красной рубахе и грязных белых джинсах.

Сначала Валерий обратил внимание на ее сапоги — легкие, но с толстым носком и грубым запятником, очень правильные сапоги для верховой езды, — а потом он встретился с ней глазами. Глаза ее были

зеркально-черными, грубо удлинёнными черной краской, взгляд внимательный и недоброжелательный. Все остановились. Жеребец коротко заржал, она похлопала его по холке ярко-белой рукой с длинными красными ногтями.

— Тебе Човдара? — довольно грубо спросила она. — Он там. — И указала в сторону ближайшего сарая, после чего поставила ногу в высоко подобранное стремя и вспорхнула в седло, обдав Валерия каким-то сладким, тревожным и совершенно не парфюмерным запахом.

— Нет, мне Роза нужна. — Валерий уже понимал, что она и есть эта Роза. — У меня посылка от Ляли Муцетони. — Он вытащил из сумки пакет и поднял его.

Она соскочила на землю, взяла пакет, кинула его в распахнутые ворота конюшни и, сверкнув зубами, не улыбнувшись, скорее — оскалившись, быстро спросила:

— Ты где остановился?

— В «Октябрьской».

— Ага, ладно. Я занята сейчас, — помахала рукой, вскочила на лошадь и, гикнув, с места ударилась в галоп.

Он смотрел ей вслед, испытывая раздражение, восхищение и еще что-то, в чем ему предстояло долго разбираться. Так или иначе, это был последний день в его жизни, когда он еще совершенно не интересовался женщинами.

Вечером Валерий долго лежал в гостиничной пахнущей стиральным порошком койке, вспоминал наглую цыганку, ее великолепного жеребца и небольших редкопородных желтых лошадок, которых наблюдал в загоне за конюшней, ожидая на остановке автобуса.

«Неприятная все-таки девчонка», — думал Валерий, соскальзывая в сон, отливающий лошадьми, запахами конюшни и медлительной радостью пустого теплого дня, когда легкий, длинный и дробный стук в дверь вывел его из этого состояния. Он приподнялся с подушки.

Дверь, как оказалось, он забыл запереть, она медленно открылась, и в номер вошла женщина. Валерий молчал, вглядываясь. Подумал сначала, что горничная.

— А, ждал, — хрипловато сказала женщина, и тут он ее узнал — это была утренняя всадница.

— А я решила, если спросишь, кто там, повернись и уеду, — без улыбки сказала она и села на кровать.

Она снимала те самые сапоги, которые он про себя утром одобрил. Сначала наступила на задник левого и сбросила его, потом стащила руками

правый с некоторым усилием и отбросила его в угол.

— Ну чего ты глазами хлопаешь? — Она встала возле постели, и он увидел, как она мала ростом. И еще успел подумать, что ему совершенно не нравятся такие маленькие и острые женщины.

Она стянула с себя белый свитер, тот самый, подарочный, расстегнула кнопку на грязных белых джинсах и, не снимая их, нырнула под одеяло, обняла его и сказала голосом трезвым и усталым:

— Весь день меня жгло, так тебя хотелось...

Валерий выдохнул воздух и навсегда забыл, какие же это женщины ему обыкновенно нравились...

Все, что он о ней узнал, он узнал позже. Была она вовсе не цыганка, а еврейка из питерской профессорской семьи, ушла к Сысоеву семь лет тому назад, дочку ее от первого брака воспитывают ее родители и ей не доверяют.

Но самое главное и поразительное было то, что к утру он обнаружил, что в свои неполные двадцать девять лет он пропустил целый материк, и непостижимо было, как удалось этой тщедушной девчонке, такой горячей снаружи и изнутри, погрузить его в себя до такой степени, что он казался самому себе тающим в густой сладкой жидкости розовым леденцом, а вся кожа его стонала и плавилась от нежности и счастья, и всякое касание, скольжение проникало насквозь, в самую душу, и вся поверхность оказывалась как будто в самом нутре, в самой глубине. Он ощущал себя вывернутым наизнанку и понимал, что, ни заткни она ему тонкими пальчиками уши, душа его непременно вылетела бы вон...

В шесть часов утра диковинные часики, не снятые с ее руки, слабо чирикнули. Она сидела на подоконнике, обняв ногами его поясницу. Он стоял перед ней и видел, как оттопыривается ниже ее пупка бугорок, обозначающий его присутствие.

— Все, — сказала она и погладила выступающий бугорок через тонкую пленку своего живота.

— Не уходи, — попросил он.

— Уже ушла, — засмеялась она, и он заметил, как по-вурдалачьи выпирают вперед верхние клычки. Он погладил пальцами ее зубы.

— Нет, я не вурдалак, — засмеялась она. — Я блядь обыкновенная. Тебе нравится?

— Очень, — честно ответил он, и она соскочила, оставив его стрелу невыпущенной.

Она пошла в душ. Ноги у нее были кривоваты и не очень ловко вставлены.

Но желание только накалялось. Он вынул из переворошенной постели порванные золотые цепочки, соскользнувшие ночью с ее шеи. Вода ревела в душе, он перебирал пальцами цепочки и смотрел в окно. Был тот же блестящий туман, что и вчера, и солнце угадывалось за его тающим блеском.

Покрытая крупными каплями воды, она вошла в комнату. Он протянул ей цепочки. Она взяла их, распустила во всю длину и кинула на стол:

— Починишь, тогда и отдашь. Сегодня среда?

Она стряхнула с маленькой груди остатки воды, с трудом натянула на узкое мокрое тело джинсы. В пружинистых ее волосах, в прическе, которая еще не называлась «афра» и была ее собственной и ничьей больше, тоже лежали круглые капли воды. Несколько маленьких, жестких даже на вид шрамов, уже волнующих и любимых, отмечали ее тело под грудью, с левой стороны живота и на правом предплечье. Кажется, она была совершенно неженственной. Но все женщины, которых он знал прежде, в сравнении с ней казались не то манной кашей, не то тушеной капустой...

— Знаешь, Валера, что? Мы встретимся с тобой ровно через неделю на Центральном почтамте в Питере. Между одиннадцатью и двенадцатью...

— А сегодня? — спросил Бутонов.

— Нет, нельзя. Сысоев тебя убьет. А может, меня... — Она засмеялась.

— Не знаю точно, но кого-нибудь убьет...

У них было еще три встречи — в течение года. А потом она исчезла. Не от Валерия исчезла, а вообще. Ни родители, ни Сысоев не знали, с кем и куда она девалась...

С тех пор Бутонов женщинам почти не отказывал. Знал, что чудес не бывает, но если пребывать на грани возможного, на пределе концентрации, то и здесь, в самом телесном низу, пробивает молния, все озаряется и вспыхивает то самое чувство: нож, направленный в цель, вздрогнув, замирает в самой ее сердцевине.

* * *

Вернувшись в десятом часу вечера из бухт и уложив спящих малышей, взрослые расселись на Медеиной кухне пить чай. Хотя все устали, расставаться не хотелось: в воздухе висело какое-то неопределенное «продолжение следует».

Даже Нора, прилежная мать, согласилась уложить дочку в чужом

месте, чтобы посидеть еще на Медеиной кухне.

Георгий вышел покурить. Он сидел возле дома и из темноты, как из зрительного зала на театральную сцену, смотрел в яркий прямоугольник распахнутой двери кухни. Свет был двойной и зыбкий: желтый от керосиновой лампы и низко-малиновый от очага. Прихваченные за день опасным весенним солнцем, лица казались густо нагримированными. Рядом с темной Медеей сидела светлая Нора, с заколотыми высоко волосами и подобранной челкой, — Ника велела намазать ей лицо кефиром, и оно теперь матово блестело. Лоб ее, когда она подобрала волосы, оказался слишком высок и выпукл, как бывает у малых детей и немецких средневековых Мадонн, и этот недостаток делал ее лицо еще милей. Еще видна была Георгию могучая спина Бутонова в розовой майке да крылатая Никина тень — гриф гитары и руки колыхались на стене. В центре стола, как драгоценный шар, стоял самовар, но чаю не варил. Хотя Георгий и провел наконец на кухню воздушку, но в этот день электричества в Поселок почему-то не подавали.

Кроме света наружу выливалась еще и мелодия, выпеваемая простым и выпуклым Никиным голосом и поддерживаемая незатейливыми аккордами не ученой музыке руки.

Тогда все пели Окуджаву, а Георгий, единственный из всех, не любил этих песен. Они раздражали его манжетами и бархатом камзолов, синевой и позолотой, запахами молока и меда, всей романтической прелестью, а главное, может быть, тем, что они были пленительны, против его воли вползали в душу, долго еще звучали и оставляли в памяти какой-то след.

Работа его многие годы была связана с палеозоологией, мертвейшей из наук, и это придало странную особенность его восприятию: все в мире делилось на твердое и мягкое. Мягкое ласкало чувства, пахло, было сладким или отталкивающим — словом, было связано с эмоциональными реакциями. А твердое определяло сущность явления, было его скелетом. Георгию достаточно было взять в руки одну створку устрицы, вмурованную в склон холма где-нибудь в Фергане или здесь, под Алчаком, чтобы определить, в каком из десяти ярусов палеогена жил этот мясистый, давно исчезнувший моллюск, его крепкая мышца и примитивные нервные узлы, то есть все то, что составляло незначительную мякоть. Так и песни эти казались Георгию мякотью, сплошной мякотью, в отличие, скажем, от песен Шуберта, в которых он чувствовал музыкальный костяк, благо что и немецкого языка он не знал.

Он придавил окурок плоским камешком и вошел в кухню, сел в самый темный угол, откуда так хорошо видна была Нора с милым и сонным

лицом.

"Такая северная девочка, не очень счастливая с виду, — размышлял он. — Петербурженка. Есть такой тип анемичных блондинок, с прозрачностью в пальцах, с голубыми венками, с тонкими лодыжками и запястьями... и сосок у нее, наверное, бледно-розовый..."

И его обдало вдруг жаром. А она, как будто почувствовав его мысли, прикрыла лицо прозрачными ладонями.

Юность его, с геологическими партиями, с поварихами из отчаянных местных, лаборантками и всегда готовыми подставить под комариные укусы мускулистые бедра подругами-геологинями, была давно позади. Из армянской смеси упрямства и лени, а также из-за приверженности мифологии семьи, внушенной матерью, наперекор общепринятой легкости, всем привычкам его круга, наперекор снисходительной насмешливости друзей он хранил угрюмую верность толстой Зойке, но никогда не мог вспомнить, как ни старался, чем же она ему понравилась пятнадцать лет тому назад. Ничего, кроме трогательного жеста складывания беленьких носочков ровненько, один на другой... И он снова вышел из кухни, чтобы отдохнуть от волнующего воздуха внутри, который вскипал пузырьками, раздражал, возбуждал.

«Ушел», — с огорчением отметила Нора.

Не было на кухне и Маши. Еще с полдороги, возвращаясь, она почувствовала противную чесотку в крови и поняла, что на нее надвигается один из редких и необъяснимых приступов. Муж ее Алик, врач, размышляющий над каждой болезнью как над самостоятельной задачей, считал, что у Маши какая-то редкая форма сосудистой аллергии. Однажды такой приступ начался на его глазах в деревне, куда они приехали справлять Новый год. Маша прикоснулась рукой к медному соску рукомойника, и он оставил след, подобный ожогу. Через два часа у нее поднялась температура, а к вечеру она вся покрылась аллергической сыпью.

На этот раз с ней происходило нечто подобное, но не от прикосновения равнодушной меди, а от мимолетного прикосновения Бутонова. Впрочем, может, просто перегрев, весеннее солнце... Но правое предплечье было багровым и слегка отекло.

Едва добравшись до дому, Маша сразу же легла, укрывшись всеми попавшимися под руку одеялами, и впала в полусон.

Покуда ее тряс озноб и мучила жажда, ей снился один и тот же все повторяющийся сон, как будто она встает с постели, идет на кухню и пытается зачерпнуть из ведра, в котором воды на самом дне, и кружка

только шкрябает, а вода не набирается. А одновременно с этим сами собой складывались какие-то неструктурированные строчки, в которых был берег, горячее солнце и неопределенное ожидание, смешанное с реальной жаждой...

А Ника занималась любимым делом обольщения, тонким, как кружево, невидимым, но осязаемым, как запах пирога от горячей плиты, мгновенно заполняющий любое пространство. Это была потребность ее души, пища, близкая к духовной, и не было у Ники выше минуты, чем та, когда она разворачивала к себе мужчину, пробивалась через обыкновенную, свойственную мужчинам озабоченность собственной, в глубине протекающей жизнью, пробуждала к себе интерес, расставляла маленькие приманки, силки, протягивала яркие ниточки — к себе, к себе, и вот он, все еще продолжающий разговаривать с кем-то на другом конце комнаты, начинает прислушиваться к ее голосу, ловит интонации ее радостной доброжелательности и того неопределенного, ради чего самец бабочки преодолевает десятки километров навстречу ленивой самочке, — и вот помимо собственного желания намеченный Никой мужчина уже тянется в тот угол, где сидит она, с гитарой или без гитары, крупная, веселая рыжеватая Ника с призывом в ярких глазах... Это, может быть, и было моментом высшего торжества, не сравнимым ни с какими другими физиологическими радостями, когда дичь начинала петлять по комнатам с пустым стаканом в руке и с растерянным видом, приближаясь к смутному источнику, и Ника сияла, предвкушая победу.

Бутонов, сидя неподвижно на середине лавки, напротив Ники, был уже у нее в руках. При всем своем незамысловатом великолепии он был простенькой дичью, отказывал женщинам редко, но в руки не давался, предпочитая разовые выступления долгосрочным отношениям. Сейчас ему хотелось спать, и он прикидывал, не отложить ли эту рыжуху на завтра. Ника, со своей стороны, совершенно не собиралась откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Она легко встала, положила гитару в кресло Медеи, которая уже ушла к себе.

— А дальше — тишина, — улыбнулась Бутонову улыбкой, обещающей продолжение вечера.

Цитаты Бутонов не уловил.

«Завелась старуха», — снисходительно подумал Георгий.

— Сейчас послушаем детей, — обратилась она как будто к Норе. Бутонов смекнул, что это ему велено подождать.

Женщины вошли в темный дом, заглянули в детскую. Смотреть было не на что: все спали после утомительного похода, только Лизочка, по обыкновению, дышала со сладкими вздохами. Маленькая Таня спала

поперек широченной тахты, с краю стройненько вытянулась Катя, не переставая и во сне следить за осанкой. Посреди комнаты стоял большой коммунальный горшок.

— Хочешь, ложись здесь, — указала Ника на тахту, — а хочешь, в маленькой, там постелено.

Нора легла рядом с дочкой. Шел уже четвертый час, и спать оставалось недолго.

Ника вернулась в кухню и легким мимоходным движением положила руки на шею Бутонова:

— Ты обгорел...

— Есть немножко, — отозвался Бутонов, и Нике вдруг показалось, что никакой победы не произошло.

— Ладно, пошли, что ли, — не обернувшись, голосом без всякого выражения предложил Бутонов.

Было в этом что-то не правильное, не по любимому канону, но Ника не стала кокетничать, прижалась слегка грудью к его твердой спине, обтянутой горячим розовым трикотажем.

Все последующее, происходящее на Адочкиной территории, не заслуживает подробного описания. Оба участника мероприятия остались вполне довольны.

Бутонов после ухода Ники облегчился в дощатой уборной в конце участка — чего ему не удавалось сделать в течение длинного и многолюдного дня — и уснул здоровым сном.

Ника вернулась домой уже по свету, спать ей совершенно не хотелось, напротив, она была полна бодрости, и тело ее, как будто благодарное ей за доставленное удовольствие, готово было к труду и веселью. Она тщательно перемыла вчерашнюю посуду и поставила на примус кашу. Она, напевая что-то, мешала длинной ложкой в большой кастрюле, когда вошла Медея за своей чашкой кофе.

— Мы тебе вчера не очень мешали? — поцеловала Ника сухую Медеину щеку.

— Нет, детка, как обычно. — И Медея коснулась Никиной головы. Она любила Никину голову: волосы ее были такими же пружинистыми и чуть трескучими, как у Самуила.

— Мне показалось, ты вчера очень устала? — полуспросила Ника.

— Знаешь, Ника, я раньше за собой такого не замечала. Весь последний год я как будто все время усталая. Может, старость? — простодушно ответила Медея.

Ника убавила огонь в примусе.

— А тебе больничка твоя не надоела? Может, бросишь?

— Не знаю, не знаю. Привыкла работать — холопский недуг. — И Медея встала, закончив разговор.

Эти мимолетные фразы были самой большой интимностью, на которую Медея была способна. Ника ценила это как знак их особой близости.

Вошла Маша, в куртке поверх ночной рубашки, с воспаленно-розовым лицом в мелкой точечной сыпи.

— Машка! Что с тобой? — ахнула Ника.

Маша жадно пила из кружки и, допив, странно сказала:

— А ведро-то было полное... Аллергия у меня.

— Не краснуха ли? — встревожилась Медея.

— Откуда ей? Сегодня к вечеру пройдет, — улыбнулась Маша. — Ночь была ужасная. Жар, озноб. А теперь уже все.

В кармане куртки лежала мятая бумажка, на которой было написано ночное стихотворение. Маше оно пока что очень нравилось, и она повторяла его про себя: «В корзине выплыло дитя, без имени, в песке прибрежном лежит, и, белые одежды надевши, фараона дочь спешит судьбе его помочь. Попалась рыбка на уд, по берегу хвостом забила, я все забыла, все забыла, я имя вспомнить не могу, и я на этом берегу песок сквозь пальцы просыпаю, под жарким солнцем засыпаю и, просыпаясь, снова жду. Чего я жду, сама не знаю».

Но на самом деле она уже все знала. После вчерашнего смутного дня и ужасной ночи наступила ясность: она влюбилась. И еще была слабость, обыкновенная слабость после подъема температуры.

* * *

Александра, меняющая всю жизнь не только надоедающих ей быстро мужчин, но и профессии, познакомилась со своим третьим мужем в Малом театре, где работала с середины пятидесятых годов у старой знаменитости костюмером, а он, сидя на приличной казенной зарплате, реставрировал купленные за гроши музейные драгоценности театральной элиты, заслуженных и народных, понимавших толк в хорошей мебели. Александра, всю жизнь легкая на любовь, была равнодушна к богатству, но обожала блеск.

Брак с Алексеем Кирилловичем был недолгим — это были самые скучные три года в ее жизни, и закончились они скандально: застал-таки ее в неурочный час Алексей Кириллович с глухонемым красавцем истопником, обслуживавшим тимирязевские дачи. Алексей Кириллович глубоко изумился и навсегда вышел вон, оставив жену в объятиях исполинского Герасима. Сандручка плакала до самого вечера. Алексея Кирилловича видела с тех пор только один раз — на суде, когда разводились, но до самого сорок первого года получала по почте деньги. Сына Алексей Кириллович видеть не пожелал.

Истопник, разумеется, был незначительным эпизодом. Были у нее разные блестящие связи: бравый летчик-испытатель, и знаменитый академик, и остроумный еврей, и неразборчивый бабник, и молодой актер, данник ранней славы и еще более раннего алкоголизма. Вышла замуж второй раз за военного, Женю Китаева, родила от него дочь Лидию, а потом и этот брак замялся. Хоть они и не разводились, но жили порознь, и вторая дочь, Вера, родившаяся перед войной, была от другого отца — человека с таким громким именем, что Китаев скромно молчал до самой своей гибели.

Но теперь ей было уже за пятьдесят, и на огонь ее тускнеющих волос уже не летели тучи поклонников. Тогда она вздохнула и сказала себе: ну что ж, пора... обвела зорким женским взглядом окрестность и остановилась неожиданно на театральном краснодеревщике Иване Исаевиче Пряничкове.

Он был не стар, около пятидесяти, на год-другой моложе ее, роста был невысокого, но широкоплеч, волосы носил длиннее, чем принято у рабочего класса, как бы по-актерски, выбрит был всегда чисто, рубашки из-под синего халата смотрели свежие. Идя как-то за ним по коридору, она изучала исходящий от него сложный и терпкий запах, связанный с его ремеслом: скипидар, лак, канифоль и еще что-то неизвестное, и запах показался ей даже привлекательным. Было в нем и какое-то особое достоинство, он не вписывался в обычную театральную иерархию. Ему бы занимать скромное место между машинистом сцены и гримером, а он шел по театральным коридорам, кивком отвечая на приветствия, как заслуженный, и закрывая плотно дверь в свою мастерскую, как народный.

Однажды в конце рабочего дня, когда рабочие мастерских еще не разошлись, а артисты и все те, кто нужен для ведения спектакля, уже пришли, Александра Георгиевна постучала в его дверь. Поздоровались. Оказалось, что он не знал ее по имени, хотя она к этому времени уже три года проработала в театре. Она рассказала ему об ореховой горке, которая осталась после покойной свекрови, бросила беглый взгляд на стены

мастерской, где на полках стояли бутылки с темными и рыжими жидкостями и симметрично были развешаны и разложены инструменты. Иван Исаевич держал бурую, с темной обводкой вокруг ногтей руку на светлой столешнице разъятого столика, гладил грубым пальцем темный выщербленный цветок, и когда Александра Георгиевна кончила свой рассказ о горке, он сказал не глядя ей в глаза:

— Вот маркетрию Илье Ивановичу закончу, тогда можно и посмотреть...

Он пришел к ней в Успенский переулок, где она жила в двух с половиной комнатах с двумя дочерьми, Верой и Никой, через неделю. Предложенная ему чашка бульона с куском вчерашней кулебяки и гречневая каша, сваренная как будто в русской печи, произвели глубокое впечатление на Ивана Исаевича, жившего достойно, чисто, но все же побобульски, без хорошей домашней еды.

Ему понравилось то бережное движение, которым она вынула хлеб из деревянного хлебного ящика и раскрыла салфетку, в которую он был завернут. Еще более глубокое впечатление произвел на него короткий, брошенный ею взгляд на небольшую иконку Корсунской Божьей Матери, которую он и не сразу заметил, поскольку висела она не в углу, как положено, а потаенно, на торце буфета, да тихий ее вздох «О Господи», перенятый от Медеи еще в детстве.

Он был из староверов, но еще в юности ушел из семьи, отказался от веры, однако, отплыв от родного берега, к другому так и не прибился и всю жизнь прожил сам с собой в ссоре, то ужасаясь совершенному бегству из родительского мира, то страдая от невозможности слиться с тысячами энергичных и оголтелых сверстников. Его тронул этот короткий молитвенный вздох, но только много лет спустя, будучи ее мужем, он понял, что все дело было в удивительной простоте, с которой она разрешила проблему, мучившую его всю жизнь. У него понятие о правильном Боге и не правильной жизни никак не соединялось воедино, а у Сандручки все в прекрасной простоте соединялось: и губы она красила, и наряжалась, и веселилась от души, но в свой час вздыхала и молилась, щедро вдруг кому-то помогала, плакала...

Иван Исаевич ходил на свидания к ореховой горке, заглядывая предварительно в репертуарный план, выбирая те дни, когда не давали Островского и Александра Георгиевна оставалась дома. В первый вечер она сидела за столиком, писала письма, во второй — шила дочери юбку, потом перебирала крупу и мягко мурлыкала какую-то привязчивую опереточную мелодию.

Предлагала Ивану Исаевичу то чай, то ужин.

«Этот мебельщик», как она его про себя окрестила, нравился ей все больше серьезной сдержанностью, лаконизмом слов и движений и всем своим поведением, которое хоть и было «малость деревянным», как она охарактеризовала его своей задушевной подруге Кире, зато «вполне мужским».

Во всяком случае, она его явно предпочла бы своему основному претенденту, недавнему вдовцу, старому актеру с зычным голосом, болтливому, тщеславному и обидчивому, как гимназистка. Актер зазвал ее недавно в гости в большую красивую квартиру сталинского покроя рядом с Моссоветом, а на следующий день она долго по всем пунктам высмеивала его перед Кирой: как он заставил весь стол банкетной старинной посудой, но в огромной хрустальной сырнице лежал один сухой лепесток сыра, а в полуметровой вазе «ассорти» — такой же засушенный кусочек колбаски, как он громовым голосом, заполнявшим всю огромную, с четырехметровыми потолками комнату, сначала говорил о своей любви к покойной жене, а потом так же зычно начал зазывать ее в спальню, где обещал показать ей, на что он способен, и наконец, когда Александра уже собралась домой, он достал шкатулку с женинами драгоценностями и не раскрывая объявил, что все достанется той женщине, которую он теперь выберет в жены.

— Ну так что же, Сандрочка, ты отговорила или все же зашла в спальню? — любопытствовала подруга, которой важно было знать всю Сандрочкину жизнь, до самой последней точки.

— Да ну тебя, Кира, — хохотала Сандра. — Видно же, что он давным-давно штаны только в уборной расстегивает! Я губки надула и говорю ему: «Ах, какая жалость, что не могу я пойти в вашу спальню, потому что у меня сегодня мен-стру-а-ция...» Он чуть на пол не сел. Нет-нет, ему кухарка нужна, а мне мужик в дом. Не пойдет...

Положение вещей представлялось ей так, что краснодеревщик у нее в кармане, но сама она колебалась: он, конечно, похож на мужика, и положительный, но все же вахлак... Тем временем он притащил откуда-то детскую кровать ладейкой.

— Для господских деток работали, Нике в самый раз будет, — и подарил.

Александра вздохнула: устала от безмужья. К тому же год назад патронесса облагодетельствовала ее дачным участком в поселке Малого театра, но дом ей в одиночку было не поднять. Все шло к одному, в пользу медлительного Ивана Исаевича, в котором тоже подспудно происходили

неосознанные шевеления, приводящие одинокого мужчину к семейной жизни. Пока длилась мебельная прелюдия к их браку, он все более убеждался в исключительных достоинствах Александры Георгиевны. «Порядочный человек, не вертихвостка какая-нибудь», — думал он с неодобрением в адрес той Валентины, с которой прожил несколько хороших лет, а потом она его обманула с подвернувшимся земляком-капитаном. Верно было то, что толстопятой его Валентине действительно до Сандрочки было далеко.

Александра понимала, что взаимное присматривание затягивается, но в эту пору у нее не прошло еще ложное чувство, что она стоит во всех отношениях настолько его выше, что он за счастье должен считать ее выбор, и она медлила. Большое и неизгладимое несчастье, происшедшее в то лето, сблизило их и соединило...

Таня, жена ее сына Сергея, была генеральской дочерью, но это было не избитой характеристикой, а всего лишь знаком материального благополучия. От отца она унаследовала честолюбие, а от матери — красивый профиль. В приданое она получила, генеральскими хлопотами, новую однокомнатную квартиру в Черемушках и старую «Победу». Сергей, человек щепетильный и независимый, к машине не прикасался, даже прав не имел. Водила Татьяна.

Это последнее предшкольное лето их дочка Маша проводила на даче у генеральши-бабушки, Веры Ивановны, характер у которой был вздорный, истерический, что всем было прекрасно известно. Время от времени внучка ссорилась с бабушкой и звонила в Москву родителям, чтобы ее забрали. На этот раз Маша позвонила поздним вечером из дедова кабинета, не плакала, но горько жаловалась:

— Мне скучно, она меня никуда не пускает, и ко мне девочек не пускает, говорит, что они украдут. А они не украдут, честное слово, не украдут...

Таня обещала забрать ее через несколько дней. Это сильно нарушало семейные планы. Они собирались всей семьей, взяв Нику, ехать через две недели в Крым, к Медее: и отпуск был в графике, и с Медеей уговорено; словом, на более раннее время поездку передвинуть было невозможно.

— Может, Сандрочка у себя Машку подержит недельку? — осторожно закинула удочку Таня.

Но Сергей не очень хотел забирать дочку от генералов, как называл он женину родню, жалел мать, у которой дом только-только отстроился, не говоря уж о том, что генеральская дача была огромная, с прислугой, а у Сандры — две комнаты с верандой.

— Машку жалко, — вздохнула Таня, и Сергей сдался.

Они взяли в середине недели отгул и рано утром выехали. До дачи они не доехали: пьяный водитель грузовика, выскочив на встречную полосу, врезался в их машину, и оба они мгновенно погибли от лобового столкновения.

Под вечер того дня, когда Ника уже истомилась ждать свою любимую подружку-племянницу, и кукол уже выстроила для нее в ряд, и взбила сама малиновый мусс, приехала генеральская «Волга», низенький генерал вышел из нее и неуверенной походкой пошел к дому. Увидев его через прозрачную занавеску, Александра вышла на крыльцо и остановилась на верхней ступени, ожидая известия, которое уже донеслось до нее бессловесной ужасной тяжестью по густеющему вечернему воздуху.

— Господи, Господи, подожди, я не могу... я не готова...

И генерал замедлил свое движение на дорожке, замедлилось время и вовсе остановилось. Только качели с сидящей на них Никой не остановились окончательно, а медленно-медленно совершали свое скользкое движение вниз от самой верхней точки.

И Александра увидела в этом остановившемся времени большой кусок своей и Сережиной жизни, и даже своего первого мужа, Алексея Кирилловича, в то лето на Карадагской станции, и новорожденного Сережу в Медеиных руках, и их общий отъезд в Москву в дорогом старинном вагоне, и Сережины первые шаги на тимирязевской даче... и его в курточке, стриженного наголо, когда он пошел в школу, и множество, множество как будто забытых фотографий увидела Александра, пока генерал стоял на дорожке, с поднятой в шаг ногу. Она досмотрела все до конца — до позавчерашнего прихода сына в Успенский, когда он попросил поддержать у нее на даче Машу до их отъезда в Крым, и его неловкую улыбку, и как поцеловал он ее в подобранные валиком волосы:

— Спасибо, мамочка, сколько ты для нас делаешь...

А она махнула рукой:

— Глупости какие, Сережа. Какое здесь одолжение, мы Машку твою все обожаем...

Генерал Петр Степанович дошел наконец до нее, остановился и сказал медленным разбухшим голосом:

— Дети наши... того... разбились насмерть...

— С Машей? — только и нашла сказать Александра.

— Нет, Маша на даче... Они по дороге... забирать ее хотели, — просопел генерал.

— В дом пошли, — велела ему Александра, и он послушался,

двинулся наверх.

С генеральшей Верой Ивановной было совсем плохо: три дня она кричала сорванным голосом хрипло и дико, засыпала только под уколами, но бедную Машу от себя ни на шаг не отпускала. Распухшая и отекая Вера Ивановна привела Машу на похороны, девочка сразу же кинулась к Александре и простояла, прижавшись к ней, всю длиннейшую гражданскую панихиду. Вера Ивановна билась об закрытый гроб и в конце концов начала выкрикивать обрывчатые слова вологодского плача, который вырвался из глубины ее простонародной, испорченной генеральством души.

Окаменевшая Александра держала твердую руку на черной Машиной голове, две старшие дочери стояли справа и слева, а позади, взявши Нику за руку, оберегал их семейное горе Иван Исаевич.

Поминки устраивали в генеральской квартире на Котельнической набережной. Все, включая посуду, привезли из какого-то специального места, где кормились высокие лица. Петр Степанович напился горько и крепко. Вера Ивановна все требовала к себе Машеньку, а девочка цеплялась за Александру.

Так они и просидели весь вечер втроем, теща да свекровь, соединенные общей внучкой.

— Сандрочка, заberi меня к себе, Сандрочка, — шептала девочка в ухо Александре, а Александра, обещавшая генералу не отбирать у них единственное дитя, утешала ее, говорила, что заберет непременно, как только бабушке Вере станет лучше.

— Нельзя же ее бросать сейчас одну, сама понимаешь, — уговаривала она Машу, сама только о том и мечтая, чтобы забрать ее в две с половиной комнаты Успенского переулка.

Именно в этот вечер на побледневшем лице Маши Александра заметила россыпь рыжих веснушек, фамильных веснушек Синопли, маленьких знаков живого присутствия давно умершей Матильды.

— Надо бы Машу оттуда забрать. Я бы помог, — как всегда в неопределенной грамматической форме, чтобы избежать интимного «ты» и официального «вы», не называя ни Александрой Георгиевной, ни Сандрочкой, пробормотал Иван Исаевич поздним вечером того дня, проводив ее до дому от Котельнической набережной.

— Надо-то надо, да как заберешь? — так же неопределенно ответила Сандра.

Медея на похороны не приехала: Анели, тбилисской покойной сестры, приемная дочь Нина лежала в больнице с тяжелой операцией, и Медея на

лето забрала ее малолеток. Не с кем было их оставить...

К концу августа Иван Исаевич закончил забор, положил на окна решетки и сделал хитрый замок.

— Хороший вор сюда не полезет, а от шпаны защита, — объяснил он Александре.

Все это черное время, от самого дня похорон, он не отходил от нее, и здесь, на этом печальном месте, и начался их брак. Их отношения как будто навсегда остались освещены этим трагическим событием, да и сама Александра, казалось, уже не способна была радостно праздновать свою жизнь, что делала от самой ранней юности, невзирая ни на какие обстоятельства войны, мира или вселенского потопа.

Ни о чем таком Иван Исаевич не догадывался. Он был другой человек, не было в его словаре таких слов, в алфавите таких букв, а в памяти таких снов, какие знала Александра. Свою жену он воспринимал как существо высшее, совершенное и готов был украсить ее горькую жизнь всеми доступными его воображению средствами: приносил в дом из Елисеевского магазина лучшее, что там видел, дарил ей подарки, порой самые нелепые, стерег ее утренний сон...

В интимных отношениях с женой более всего он ценил их факт и в глубине простой души полагал попервоначалу, что благородной его жене от его притязаний одна докука, и немало времени прошло, прежде чем Сандрочке удалось его кое-как приспособить для извлечения небольших и незвонких радостей. Верность Ивана Исаевича оказалась гораздо большей, чем обыкновенно вмещается в это понятие. Он служил своей жене всеми своими мыслями, всеми чувствами, и Сандрочка, изумленная таким неожиданным, под занавес ее женской биографии, даром, благодарно принимала его любовь...

Генерал Гладышев за свою жизнь построил столько военных и полувоенных объектов, столько орденов получил на свою широкую и короткую грудь, что властей почти и не боялся. Не в том, разумеется, смысле, в котором не боится властей философ или артист в каком-нибудь расслабленно-буржуазном государстве, а в том смысле, что пережил Сталина не покачнувшись, ладил с Хрущевым, с военных лет ему знакомым, и уверен был, что с любыми властями найдет язык. Боялся он только своей супруги Веры Ивановны. Одна только Вера Ивановна, верная жена и боевая подруга, нарушала его покой и портила нервы.

Мужний высокий чин и большую должность она считала как бы себе принадлежащими и умела требовать все положенное ей, по ее разумению. При случае не стеснялась и скандал учинить. Этих скандалов и боялся

Петр Степанович больше всего. Голос у супруги был прегромкий, акустика в высоких комнатах прекрасная, а звукоизоляция недостаточная. И когда она начинала кричать, он быстро сдавался:

— От соседей стыдно, совсем ты обезумела.

После голодного вологодского детства и бедной юности осталась Вера Ивановна раз и навсегда шарахнутой трофейной Германией, которую завез в конце сорок пятого года Петр Степанович, человек не алчный, но и не растяпистый, в количестве одного товарного вагона, и с тех пор Вера Ивановна все не могла остановиться, прикупала и прикупала добро.

Ругая жену безумной и сумасшедшей, в прямом смысле слова он ее таковой не считал. Поэтому в ту ночь, через несколько месяцев после гибели дочери, когда он был разбужен бормотанием жены, стоявшей в поросячьего цвета ночной рубашке перед раскрытым ящиком дамского письменного стола, помнится, из Потсдама, ему и в голову не пришло, что пора ее сдавать в сумасшедший дом.

— Она думает, она теперь все от меня получит... получит она... маленькая убийца. — Вера Ивановна заматывала в махровое полотенце китайский веер и какие-то флакончики.

— Что ты там среди ночи делаешь, мать? — приподнялся на локте Петр Степанович.

— Да спрятать надо, Петя, спрятать. Думает, так это пройдет. — Зрачки ее были так расширены, что почти сошлись с черными ободками радужки, и глаза казались не серыми, а черными.

Генерал так обозлился, что дурное предчувствие, шевельнувшееся было в душе, растаяло мгновенно. Он засадил в нее, как сапогом, длинной матерной фразой, взял подушку и одеяло и пошел досыпать в кабинет, волоча за собой длинные тесемки солдатских подштанников.

Безумие — и это знают все, кто близко его наблюдал, — тем более заразительно, чем тоньше организация человека, находящегося рядом с безумцем. Генерал его просто не замечал. Матрена, дальняя родственница Веры Ивановны, смолоду жившая в их доме «за харчи», замечала кое-какие странности в поведении хозяйки, но не обращала на них особого внимания, ибо и сама, дважды переживши знаменитый российский голод, с тех пор была немного стронута на этом месте. Она жила, чтобы есть. Никто в семье не видел, как и когда она это делала, хотя и знали, что ела она по ночам. Пировала она в своей узкой комнатке без окна, назначенной под кладовую, за железным крючком. Сначала она съедала собранную за день недоеденную семейством еду, потом то, что считала себе положенным, и, наконец, самое сладкое — ворованное, то, что вынимала из кремлевских

продовольственных заказов собственноручно, тайком: довесок осетрины, кусок сухой колбасы, конфеты, если приходили они в бумажных пакетах, а не запечатанными в коробках. В свое жилище, запретное для всех домочадцев, она и кошки не пускала, и даже генерал, нечувствительный к мистической материи, ощущал здесь какую-то неприятную тайну. Туда несла она в мешочки пересыпанную крупу, муку, консервы. За день до ежегодной поездки к сестре в деревню, не попадаясь хозяйке на глаза, с двумя большими сумками она выскальзывала за дверь, ехала на Ярославский вокзал и сдавала сумки в камеру хранения. Все эти продукты она везла сестре в подарок, но из года в год повторялась одна и та же история: она ставила в первый же вечер на стол покрытую машинным маслом банку тушенки, собираясь отдать остальное погодя, но больная ее душа не позволяла совершить этот отчаянный поступок, и по-прежнему она ела свои припасы по ночам, в темноте и одиночестве, а сестра, наблюдавшая с полатей ее ночные трапезы, сильно ее жалела за жадность, но не обижалась. Хотя она была и старше Матрены, но жила огородам, держала корову и к еде была нежадной.

Не удивительно, что, занятая постоянно своим пищевым промыслом, Матрена не заметила ни приступов столбняка, нападающих на Веру Ивановну, ни неожиданного возбуждения, когда она начинала ходить из комнаты в комнату, как зверь в клетке, а если что и замечала, то объясняла обычным образом:

«Верка — чистая сатана».

Петр Степанович тоже ничего не замечал, поскольку многие годы избегал общения с женой, вставал рано, дома не завтракал, секретарша сразу, как он добирался до своего огромного кабинета, несла ему чай. Домой он возвращался поздно, в прежние времена и за полночь, высиживал в своем управлении по шестнадцать часов кряду, а более всего любил инспекционные поездки на объекты и часто уезжал из Москвы. С супругой по своей инициативе он и двух слов не говорил. Приходил, ужинал, зарывался скорей в ее шелковые пуховые одеяла и засыпал быстрым сном здорового человека.

Так и получилось, что вся чудовищная сила безумия Веры Ивановны обрушилась на Машу. В первый класс она пошла уже здесь, на Котельнической.

Будила, провожала в школу и приводила ее Матрена, а начиная с обеда Маша проводила время с бабушкой. Машу сажали за стол. Напротив садилась бабушка Вера, не спускавшая с нее глаз. Нельзя сказать, чтобы она мучила Машу замечаниями. Она смотрела на нее серыми

немигающими глазами и время от времени что-то неразборчиво шептала. Маша шарила серебряной ложкой в тарелке и не могла донести ее до рта. Суп под холодным взглядом Веры Ивановны быстро остывал, и Матрена, имевшая здесь свой интерес, быстро уносила его неизвестно куда, а перед Машей ставила большую тарелку со вторым, которое вскоре почти нетронутым отправлялось вслед за первым. Потом Маша съедала кусок белого хлеба с компотом, что, кстати, осталось на всю жизнь ее любимой едой, и бабушка говорила ей: пошли.

Она послушно садилась за пианино на три толстых тома какой-то энциклопедии и опускала пальцы на клавиши. В жизни своей она не знала холода пронзительней того, который шел по ее кистям через черно-белые зубья ненавистной клавиатуры. Вера Ивановна знала, что девочка ненавидит эти занятия. Она садилась сбоку от нее, глядела и все шептала, шептала что-то, и у Маши на глазах выступали слезы, сбегали по щекам и оставляли холодеющие мокрые следы.

По вечерам, после того как Матрена укладывала ее спать, начиналось самое ужасное: она не могла уснуть, вертелась в большой кровати и все ждала минуты, когда откроется дверь и к ней в комнату войдет бабушка Вера. Она приходила в поздний час, который Маша определить не умела, в вишневом халате, с длинной гладкой косой по спине. Садилась возле кровати, а Маша сжималась в комочек и зажимуривала глаза. Один такой вечер она запомнила особенно хорошо из-за иллюминации, которой украсили дом перед ноябрьскими праздниками; дом был полосатым, красно-желтым, и Вера Ивановна, сидя в полосе красного света, шептала протяжно и внятно:

— Убийца, убийца маленькая... Ты позвонила, ты позвонила, вот они и поехали... из-за тебя все... живи теперь, живи, радуйся...

Вера Ивановна уходила, и тогда Маша наконец могла заплакать. Она утыкалась в подушку и в слезах засыпала.

По воскресеньям приходила любимая Сандрочка, которую Маша всю неделю ждала. Машу отдавали до обеда, на несколько часов. Внизу около подъезда ожидал Иван Исаевич, дядя Ваня, иногда один, но чаще с Никой, и они шли гулять: то в Зоопарк, то в Планетарий, то в Уголок Дурова. Расставание всегда оказывалось для нее сильнее встреч, да и сама эта короткая встреча напоминала о счастье других людей, которые живут в Успенском переулке.

Несколько раз Сандра приводила Машу к себе домой. Она понимала, что девочка тоскует, что ей плохо, но ей и в голову не могло прийти, что больше всего мучит Машу ужасное обвинение сумасшедшей старухи. А

Маша ничего не говорила, потому что больше всего на свете боялась, что любимая ее Сандрочка и Ника узнают о том, что она совершила, и перестанут к ней приходить.

Поздней осенью Маше приснился в первый раз страшный сон. В этом сне ровным счетом ничего не происходило. Просто открывалась дверь в ее комнату и кто-то страшный должен был войти. Из коридора несло приближающимся ужасом, который все рос и рос, — Маша с криком просыпалась. Кто и зачем распахивал дверь, которая всегда оказывалась чуть-чуть смещенной от двери действительной?.. На крик обыкновенно прибегала Матрена. Она укрывала ее, гладила, крестила — и тогда, уже под утро, Маша засыпала крепким сном. Она и прежде плохо засыпала, ожидая прихода бабушки, а теперь и после ее ухода она не могла подолгу заснуть, боясь сна, который снился тем чаще, чем больше она его боялась. По утрам Матрена с трудом поднимала ее. Полусонная она сидела на уроках, полусонная приходила домой и отрабатывала перед Верой Ивановной музыкальную повинность, а потом засыпала коротким дневным сном, спасающим ее от нервного истощения...

Место над Яузой, где стоял их дом, издавна считалось нехорошим. Многие жильцы этого дома умирали насильственной смертью, а тесные окна и куцые балкончики притягивали самоубийц. Несколько раз в году к дому с воем подъезжала санитарная машина и подбирала распластанные человеческие останки, прикрытые сердобольной простыней. Столь любимая в России статистика давно установила, что число самоубийств повышается в зимние бессолнечные дни. Тот декабрь был необыкновенно мрачным, солнышко ни разу не пробило глухих облаков, — лучший сезон для последнего воздушного полета.

Обедали Гладышевы обыкновенно в столовой, ужинали на кухне. Вечером, когда Маша доедала жареную картошку, по-деревенски приготовленную Матреной в виде спекшейся лепешки, в кухню вошла Вера Ивановна. Матрена сообщила ей, что сегодня опять «сиганули»: с седьмого этажа выбросилась молодая девушка, дочь знаменитого авиаконструктора.

— От любви небось, — прокомментировала Матрена свое сообщение.

— Балуют, потому так и выходит. Гулять не надо пускать девчонок, — строго отозвалась Вера Ивановна. Она налила в стакан из чайника кипяченой воды и вышла.

— Моть, а что с ней стало? — спросила Маша, оторвавшись от картошки.

— Как — что? Убилась насмерть. Внизу-то камень, не соломка. Ох,

грехи, грехи... — вздохнула она.

Маша поставила пустую тарелку в раковину и пошла к себе в комнату. Они жили на одиннадцатом. Балкона в ее комнате не было. Она подвинула стул и влезла на широкий подоконник. Между десятым и одиннадцатым этажами была зачаточная балюстрада. Маша попробовала открыть окно, но шпингалеты, покрашенные масляной краской, не открывались.

Маша разделась, сложила свои вещи на стул. Зашла Матрена сказать «спокойной ночи». Маша улыбнулась, зевнула — и мгновенно заснула. Впервые за всю свою жизнь на Котельнической набережной она заснула легким, счастливым сном, впервые не услышала тихого проклятия, с которым зашла к ней в полночь Вера Ивановна, и дверь ужасного сновидения не отворилась в ту ночь.

Что-то изменилось в Маше с того дня, когда она узнала о той девушке, которая «сиганула». Оказывается, существовала возможность, о которой она прежде не знала, и от этого ей сделалось легче.

Назавтра позвонила Сандра и спросила, не хочет ли она поехать с Никой в зимний пионерский лагерь ВТО. С Никой Маша готова была ехать куда угодно.

Ника была единственная девочка, которая осталась от прежней жизни, все остальные ее подружки по Юго-Западу, где она жила раньше, исчезли бесследно, как будто тоже погибли вместе с ее родителями.

Несколько оставшихся до Нового года дней Маша жила в счастливом ожидании. Матрена собрала ее чемодан, надела на него парусиновый чехол и пришила к нему белый квадрат, на котором написали ее имя. Генеральский шофер привез с Юго-Запада ее лыжи. Палок не нашел, купил в «Детском мире» новые, красные, и Маша гладила их и принималась: пахли они вкусней любой еды.

Тридцать первого утром ее должны были отвезти на Пушкинскую, где назначена была встреча с Никой. Туда же подавали автобусы. Ей казалось, что там будут и все ее подружки со старого двора: Надя, Оля, Алена.

Тридцатого вечером у нее поднялась температура под сорок. Вера Ивановна вызвала врача и позвонила Александре Георгиевне, чтобы известить. Поездка, таким образом, отменилась.

Два дня лежала Маша в сильном жару, время от времени открывая глаза и спрашивая: который час? уже пора... мы не опоздаем?

— Завтра, завтра, — все говорила ей Матрена, которая почти от нее не отходила. В каких-то просветах Маша видела Матрену, Сандру, Веру Ивановну и даже деда Петра Степановича.

— Когда же я поеду в лагерь? — ясным голосом спросила Маша, когда

болезнь ее отпустила.

— Да каникулы-то кончились, Машенька, какой теперь лагерь? — объяснила ей Матрена.

Горе было велико.

Вечером приехала Сандрочка, долго утешала ее, обещала, что на лето заберет ее к себе в Загорянку.

А ночью ей снова приснился тот сон: открылась дверь из коридора и кто-то ужасный медленно приближался к ней. Она хотела крикнуть — не могла.

Она рванулась, спрыгнула с постели, в странном состоянии между сном и явью придвинула стул к подоконнику, влезла на него и дернула шпингалет с невесть откуда взявшейся силой. Первая рама открылась. Вторая распахнулась совсем легко, и она соскользнула с подоконника вниз, даже не успев почувствовать ледяного прикосновения жестяного фартука.

Подол ее рубашки зацепился за его острый край, чуть-чуть придержал ее, и она мягко выпала на заваленную снегом балюстраду десятого этажа.

Через час Матрена закончила свою трапезу и вышла из чулана. На нее дохнуло холодом. Морозным воздухом несло из открытой двери Машиной комнаты.

Она вошла, увидела распахнутое окно, ахнула, кинулась его закрывать. На подоконнике намело маленькую неровную горку снега. Только закрывши окно она увидела, что Маши в постели нет. У нее подкосились ноги. Она села на пол.

Заглянула под кровать. Подошла к окну. Шел густой снег. Ничего не было видно, кроме мирных медлительных хлопьев.

Матрена сунула голые ноги в валенки, накинула платок и старое хозяйкино пальто, побежала к лифту. Спустилась, пробежала через большой, покрытый красным ковром вестибюль, шмыгнула через тяжеленную дверь и обогнула угол дома. Снег лежал ровный, рыхлый, празднично блестел.

«Может, замело уже», — подумала она и прошла, разметывая валенками толстый снег под окнами их квартиры. Девочки не было. Тогда она поднялась и разбудила хозяев...

Машу сняли с балюстрады через полтора часа. Она была без сознания, но и без единой царапины. Петр Степанович проводил до машины укрытую одеялами девочку, вернулся в квартиру. Вера Ивановна просидела все эти полтора часа на краю своей кровати, не сдвинувшись с места и не проронив ни слова. Когда Машу увезли, он увел Веру Ивановну к себе в кабинет, посадил в холодное деревянное кресло и, крепко взяв за плечи, встряхнул:

— Говори.

Вера Ивановна улыбнулась неуместной улыбочкой:

— Это она все подстроила... Танечку мою убила...

— Что? — переспросил Петр Степанович, догадавшись наконец, что жена его сошла с ума.

— Маленькая убийца... все подстроила... она...

Следующая машина увезла Вера Ивановну. Генерал не стал ждать до утра — вызвал немедленно. В эту ночь ему пришлось еще раз спускаться вниз, к санитарной машине. Поднимаясь наверх в лифте, он поклялся, что ни одного дня больше не проживет с женой под одной крышей. Утром он позвонил Александре, сообщил о случившемся очень сухо и коротко и попросил забрать Машу из больницы к себе, как только ее выпишут. Через день генерал уехал в инспекционную поездку на Дальний Восток.

Свою бабушку Веру Ивановну Маша видела с тех пор только один раз — на похоронах. Петр Степанович сдержал свое слово: Вера Ивановна прожила оставшиеся ей восемь лет в привилегированной лечебнице, вдали от драгоценной мебели, фарфора и хрусталя. В сухой старушке с редкими серыми волосами Маша не узнала красивой пышноволосой бабушки Веры Ивановны в вишневом халате, которая приходила к ней, семилетней, шептать вечерние проклятья...

Через неделю после счастливо закончившегося несчастья неказистый, провинциального вида еврей, доктор Фридман, затолкнул Александру Георгиевну в подлестничный чулан, заваленный старыми кроватями, тюками с бельем и коробками, усадил ее на шаткий табурет, а сам устроился на трехногом стуле.

Старая трикотажная рубашка с растянутым воротом и кривой узел галстука были видны в распахе халата. Даже лысина его выглядела неопрятной — в неравномерных кустиках и клочках, как неперелинявший мех. Он сложил перед собой специально-врачебные, профессиональные руки и начал:

— Александра Георгиевна, если не ошибаюсь... Здесь совершенно невозможно поговорить, единственное место, где не мешают... Разговор у меня серьезный. Я хочу, чтобы вы поняли, что психическое здоровье ребенка целиком в ваших руках. Девочка пережила травму такой глубины, что трудно предвидеть ее отдаленные последствия. Я совершенно уверен, что многие мои коллеги настаивали бы на переводе ее в стационар и на серьезном медикаментозном лечении. Возможно, это и понадобится: неизвестно, как будет развиваться ситуация. Но, я думаю, есть шанс эту историю похоронить... — Он смутился, почувствовав, что говорит не то. —

Я имею в виду, что у психики ребенка есть огромные защитные механизмы, и, может быть, они сработают. К счастью, Маша не отдает себе полного отчета о происшедшем. Идея самоубийства в ее сознании не сформировалась, и сам факт суицидной попытки ею не осознан.

Происшедшее с ней может быть скорее рассмотрено, знаете, как если бы человек отдернул руку, схватившись за горячее. Я с Машей много беседовал. Она неохотно идет на контакт, но если контакт имеется, она говорит искренне, чистосердечно, и, знаете, — он смял свою полунаучную речь, улыбнулся, открыв квадратные детские зубы, — она очаровательное существо, умненькая, ясная, с каким-то очень хорошим нравственным строем... чудесный ребенок. — Лицо его просветлело, и он сделался даже симпатичным.

«На кого-то знакомого похож», — мелькнуло у Сандры.

— Одних людей страдание калечит, а других, знаете, как-то возвышает.

Ей сейчас нужна теплица, инкубатор. Я бы забрал ее в этом году из школы, чтобы, знаете, исключить все случайности... плохой педагог, грубые дети... лучше продержат ее дома до будущего года. И очень, очень щадящая обстановка. — Он встрепенулся:

— И никаких контактов с той ее бабушкой, исключить. Она внушила ей комплекс вины за смерть родителей, а это и взрослый человек не каждый вынесет. Все это может вытесниться, может вытесниться. Старайтесь не вспоминать об этом последнем периоде, и даже о родителях ее не надо ей напоминать. Вот телефон мой, звоните, — он вынул заранее заготовленный листочек, — Машу я не оставляю, буду наблюдать, пожалуйста, пожалуйста...

Александра не ожидала, что Машу отдадут так быстро. Машины вещи, второй раз за полгода перевезенные генеральским шофером на новую квартиру, стояли еще неразобранные, вместе с непригодившимся чемоданом и лыжами. Александра сразу же после разговора с врачом поехала домой за Машиными вещами и в тот же день забрала ее в Успенский...

Была половина января, елка еще была не разобрана, стол раздвинут по-праздничному. Пришла и гостя — старшая дочь Александры, беременная Лидия. Еда была простая, непраздничная: винегрет, макароны с котлетами да подгоревшее Никино печенье, которое она в спешке пекла перед самым Машиным приездом. Зато с рекомендованной доктором любовью все обстояло как нельзя лучше: сердце Александры просто разрывалось от молитвенной благодарности, что Маша чудом спаслась, что она здорова и у

нее в доме. Ни один из ее собственных детей не казался ей в эти минуты столь горячо любимым, как эта хрупкая сероглазая, совсем не их породы девочка. Ника тискала ее, обнимала, забавляла всеми известными ей способами. Маша немного посидела за столом, а потом пересела в детское плетеное креслице, которое за несколько дней до ее приезда принес откуда-то Иван Исаевич и два дня чинил поломанную ручку и прилаживал на сиденье кусок красного сукна с бахромой.

Расслабленная от беременности Лидия вскоре ушла.

Хотя вся семья ждала Машиного приезда, он все-таки оказался неожиданным, и потому спального места ей не приготовили. Ника отправилась спать к матери, а Машу уложили в Никину маленькую ладью, из которой она за лето почти выросла. Глаза у Маши слипались, но, когда ее уложили, сон ушел.

Она лежала с открытыми глазами и думала, как в будущем году поедет с Никой в зимний лагерь.

Убрав и вымыв посуду, Александра подошла к девочке, села рядом.

— Дай руку, — попросила Маша.

Александра взяла Машу за руку, и девочка быстро уснула. Но когда Александра попыталась осторожно высвободить свою руку, Маша открыла глаза:

— Дай руку...

Так до утра и просидела Александра возле спящей внучки. Иван Исаевич пытался заменить ее на этом молчаливом посту, но она только качала головой и жестом отсылала его спать. Это была первая ночь в череде многих. Без ночного поводыря — бабушкиной или Никиной руки — Маша не могла заснуть, а заснув, иногда просыпалась с криком, и тогда Сандра или Ника брали ее к себе, успокаивали. Как будто их было две: Маша дневная, спокойная, ласковая, приветливая, и Маша ночная — испуганная и затравленная.

Возле Машиной кровати поставили раскладушку. Обычно на ней укладывалась Ника, она лучше матери умела сторожить хрупкий Машин сон, а потревоженная, мгновенно засыпала снова. Ника вообще была лучшей помощницей матери, чем Вера, которая училась в институте, обожала до страсти всяческое учение и кроме институтских занятий ходила на курсы то немецкого языка, то какой-то туманной эстетики.

Нике шел тринадцатый год, она набрала уже хороший женский рост и множество разных женских умений, стайка мелких прыщиков в середине лба свидетельствовала о том, что близится время, когда ее женские дарования будут востребованы.

Маша переехала в Успенский как раз в то время, когда Ника охладела к обычной девчачьей забаве — к игре в куклы, и живая Маша разом заменила ей всех ее Кать и Ляль, на которых она так долго упражняла смутные материнские инстинкты. Все куклы, с ворохом платьев и пальто, которые не ленилась им шить проворная Александра, перешли к Маше, и Ника почувствовала себя главой большой семьи с дочкой Машей и кучей игрушечных внушек.

Много лет спустя, уже родив Катю, Ника признавалась матери, что, видимо, потратила весь первый материнский пыл на племянницу, потому что никогда не испытывала к своим детям такой трепетной любви, такого полного принятия в сердце другого человека, как это было в первые годы жизни Маши в их доме. Особенно этот первый год, который она жила состраданием к бедной Маше, держала ее ночами за руку, плела по утрам косички, а после школы водила гулять на Страстной бульвар. В Машинной жизни Ника занимала огромное и трудноопределимое место: была любимой подругой, старшей сестрой, во всем лучшей, во всем идеальной...

В следующем году, когда ее снова отдали в школу, Иван Исаевич забирал ее после занятий и либо приводил домой, либо отводил к себе в театр.

Александра, вскоре после Машиного переезда похоронившая свою знаменитую патронессу, ушла из театра. Теперь она заведовала маленьким закрытым ателье для правительственных дам. Место было блатное, но у Александры от прежних лет остались какие-то высокие покровители.

Крепдешиновые обрезки от их обширных платьев шли на кукольные наряды, но обе они, и Ника и Маша, сохранили на всю жизнь отвращение к розовому, голубому, оборчатому и плиссированному. Обе они, чуть повзрослев, стали носить джинсы и мужские рубашки.

Невзирая на столь неженственный, как полагала Сандрочка, облик, к шестнадцати годам Ника стала пользоваться ошеломляющим успехом. Телефон звонил день и ночь, и Иван Исаевич смотрел на Сандрочку с ожиданием, когда же она прекратит бурную жизнь дочери. Но Александра и сама, казалось, получала удовольствие от Никиных успехов. В конце девятого класса она завела увлекательный роман с молодежным поэтом, входящим в бурную моду, и, не закончив последней четверти, укатила с ним в Коктебель, сообщив об этом телеграммой «пост фактум», уже из Симферополя. Маша с двенадцатого года стала Никиным доверенным лицом и принимала с тайным ужасом и восхищением ее исповеди. Обеими руками Ника гребла к себе удовольствия, большие и малые, а горькие ягоды и мелкие камешки легко сплевывала, не придавая им большого

значения. Сплюнула, между прочим, и школьное обучение. Сандра не ворчала, не устраивала бессмысленных выяснений и, помня себя молодой, быстро устроила Нику в театральное-художественное училище, где были у нее от театральных времен хорошие знакомые. Ника немного позанималась рисунком, сдала экзамены на необходимые четверки и с наслаждением выбросила школьную форму. Еще через год она была уже более или менее замужем.

Маша осталась последним ребенком у престарелых приемных родителей, вокруг нее закручивалась теперь вся жизнь семьи. Ночные страхи ее кончились, но от раннего прикосновения к темной бездне безумия в ней остался тонкий слух к мистике, чуткость к миру и художественное воображение — все то, что создает поэтические склонности. В четырнадцать лет она увлекалась Пастернаком, обожала Ахматову и писала тайные стихи в тайную тетрадь.

* * *

К вечеру над горами в том месте, которое называли Гнилой Угол, нависли облака, а в доме нависла атмосфера молчаливого ожидания. Ника ждала, что зайдет Бутонов. По ее понятиям, после их ночного свидания следующий ход был за ним. Тем более, что не могла вспомнить, сказала ли ему, что собирается уезжать... Ждала и Маша, и ее ожидание было тем напряженнее, что она и сама не знала, кого она ждет больше — мужа Алика, который должен был, собрав отгулы, приехать на несколько дней, или Бутонова. Ей все мерещилось, как Бутонов сбегает с горы, перепрыгивая через колючие кусты и подскакивая на осыпях. Может, наваждение бы и развеялось, если бы она посидела с ним на кухне, поговорила...

«Он неумен», — вспоминала она слова Ники, обращаясь к спасительной и ничтожной логике, как будто неумный человек не мог быть источником любовного наваждения.

Всех острее тосковала и мучилась ожиданием Лизочка. Наутро, после дня мелких ссор и недовольств Таней, оказалось, что без нее Лизочка уже и жить не может. Она ждала ее весь день, канючила, а к вечеру, устав от ожидания, устроила истерику с заламыванием рук. Ника никогда не придавала большого значения Лизочкиным чрезмерным требованиям, но

улыбнулась: "У нее роман..."

Мой характер: если я чего хочу, подайте немедленно".

Но в данную минуту желания матери и дочери частично совпадали: обе ждали продолжения романа.

— Ну, перестань... Одевайся, сходим к твоей Тане, — утешила Ника дочку, и та побежала надевать нарядное платье.

С расстегнутыми на спине пуговицами, с полной охапкой игрушек она вернулась к Нике на кухню — спросить, какую игрушку можно подарить Тане.

— Какую тебе не жалко, — улыбнулась Ника.

Медея, глядя на заплаканную внучку, отметила про себя: "Пылкая кровь."

Но до чего же очаровательна..."

— Лиза, подойди, я тебе пуговицы застегну, — велела Медея, и девочка послушно подошла к ней, повернулась спиной. Мелкие пуговицы с трудом продевались в еще более мелкие петли. От бледных волос пахло младенческой сладостью.

Через пятнадцать минут они были уже у Норы, сидели в ее маленьком домике, уставленном букетами глициний и тамариска. Крошечный летний домик был по-украински уютен, выбелен начисто, земляной пол устлан половиками.

Лиза спрятала принесенного зайца под юбку и добивалась от Тани интереса, но Таня послушно ела кашу, опустив глаза. Нора, по обыкновению, мягко и неопределенно жаловалась, что вчера очень устали, что припеклись, что очень уж далекая оказалась прогулка... Подробно и не без занудства. Ника сидела у окна и все поглядывала в сторону хозяйского жилья.

— Вон и Валерий тоже весь день не выходил, — кивнула Нора в сторону хозяев, — телевизор смотрит.

Ника встала легко и у дверей, обернувшись, сказала:

— Я к тете Аде на минутку...

Телевизор был включен на полную мощность. Стол заставлен большой едой.

Михаил, хозяин, не любил мелких кусков, да и кастрюли у Ады, при всей ее невеликой семье, были чуть не ведерные. Работала она на кухне в санатории, и масштаб у нее был общепитовский, что хорошо сказывалось на рационе двух хрюшек, которых они держали. Валерий и Михаил сидели слегка одуревшие от грузной еды, а сама Ада пошла как раз «на погреб», как они говорили, за компотом. Она вошла в комнату следом за Никой, с

двумя трехлитровыми банками. Ада с Никой расцеловались.

— Слива, — догадалась Ника.

— Ника, да ты садись. Миш, налей чего, — приказала Ада мужу. Бутонов уперся в телевизор.

— Да я так, только поздороваться, Лизка моя в гостях у ваших постояльцев, — отговорила Ника.

— Сама-то к нам не зайдешь, только к жильцам ходишь, — укорила ее Ада.

— Ну прям, я заходила несколько раз, а ты то на работе, то по гостям ходишь, — оправдалась Ника.

Ада наморщила лобик, потерла нос, потерявшийся на толстом лице:

— Точно, в Каменку ездила, к куме.

А Михаил уже налил стопку чачи — он все умел по-хорошему делать, это Валерий знал от своего соседа Витьки: чачу гнать, мясо коптить, рыбу солить.

Где бы Михаил ни жил — в Мурманске, на Кавказе, в Казахстане, — больше всего он интересовался, как народ питается, и все лучшее примечал.

— Со свиданьем! — возгласила Ника. — За ваше здоровье!

Она протянула стопку и Бутонову, который наконец оторвался от телевизора. Она смотрела на него таким взглядом, который Бутонову не понравился. Да и сама Ника ему сейчас тоже не понравилась: голова ее была плотно обвязана зеленым шелковым платком, веселых волос не было видно, лицо казалось слишком длинным, лошадиным и платье было цвета йода, в разводах.

Бутонову было невдомек, что Ника надела те самые вещи, которые шли ей больше всего, в которых она позировала знаменитому художнику, — он-то и велел ей потуже затянуть платок и долго, чуть не со слезами, разглядывал ее, приговаривая:

— Какое лицо... Боже, какое лицо... Фаюмский портрет...

Но Бутонов про фаюмский портрет не знал, он обозлился, что она притащилась к нему, когда ее не звали, и права такого он ей пока что не давал.

— Витька нашего друг, врач известный, — похвалилась Ада.

— Да мы вчера с Валерой в бухты вместе ходили. Знаю уж.

— Тебя не обгонишь, — съязвила Ада, имея в виду что-то, Бутонову не известное.

— Это уж точно, — дерзко ответила Ника.

Тут заверещала Лизочка, и Ника, почувствовав смутно какой-то

непорядок в начавшемся так восхитительно романе, выскользнула из двери, вильнув длинным йодистым платьем.

Вечер Ника провела с Машей — никто к ним не пришел. Они успели и покурить, и помолчать, и поговорить. Маша призналась Нике, что влюбилась, прочитала то стихотворение, что написала ночью, и еще два, и Ника впервые в жизни кисло отнеслась к творчеству любимой племянницы. Весь день она не могла уллучить времени, чтобы поделиться с Машей вчерашним успехом, но теперь успех совершенно прокис, да и Машу не хотелось огорчать случайным соперничеством. Но Маша, занятая собой, ничего не замечала.:

— Ник, что делать, Ник? Бред какой-то... Ты же знаешь, как я Альку люблю, меня же другие мужчины вообще никогда не занимают... Что делать, Ника?

И Маша смотрела на Нику, как в детстве, снизу вверх, с ожиданием. Ника, скрывая раздражение на Бутонова, который ее за что-то решил наказать, и на свою курицу племянницу, которая нашла, в кого влюбиться, идиотка, пожав плечами, ответила:

— Дай ему и успокойся.

— Как — дай? — переспросила Маша.

Ника обозлилась:

— Как, как! Ты что, маленькая? Возьми его за...!

— Так просто? — изумилась Маша.

— Проще пареной репы, — фыркнула Ника.

Вот дура невинная, еще и со стихами. Хочет вляпаться — пусть вляпается...

— Знаешь, Ника, — решила вдруг Маша, — я поеду на почту сейчас, позвоню Алику. Может, он приедет — и все встанет на свои места.

— Встанет, встанет, — зло рассмеялась Ника.

— Пока! — резко вскочила Маша с лавки и, прихватив куртку, побежала на дорогу. Последний автобус, десятичасовой, уходил через пять минут...

На городской почте первым человеком, которого увидела Маша, был Бутонов. Он стоял в переговорной будке, к ней спиной. Телефонная трубка терялась в его большой руке, а диск он крутил мизинцем. Не поговорив, он повесил трубку и вышел. Они поздоровались. Маша стояла в конце очереди, перед ней было еще двое. Бутонов сделал шаг в сторону, пропуская следующего, посмотрел на часы:

— У меня сорок минут занято.

Лампы дневного света, голубоватые мерцающие палочки, висели

густо, свет был резкий, как в страшном кино, когда что-то должно произойти, и Маша почувствовала страх, что из-за этого рослого, в голубой джинсовой рубашке киногероя может рухнуть ее разумная и стройная жизнь. А он двинулся к ней, продолжая свое:

— Бабы болтают... или телефон сломан, а мне дозвониться позарез нужно...

Подошла Машина очередь, она набрала номер, страстно ожидая услышать Аликов голос, который и вернул бы все на свои места. Но к телефону не подходили.

— Тоже занято? — спросил Бутонов.

— Дома нет, — проглотив слюну, ответила Маша.

— Давай по набережной пройдемся, а потом еще позвоним, — предложил он.

Бутонов вдруг заметил, что у нее симпатичное лицо и круглое ухо трогательно торчит на коротко остриженной голове. Дружеским жестом он положил руку на тонкий вельвет ее серой курточки, — Маша была ему по грудь, тонкая, острая, как мальчик.

«С ней воздух работать можно», — подумал он.

— Говорят, здесь какая-то бочка на набережной и какое-то особое вино...

— Новосветское шампанское, — уже на ходу отозвалась Маша.

Они шли вниз, к набережной, и Маша вдруг увидела все со стороны, как будто с экрана: как они быстрым шагом, с видом одновременно вольным и целеустремленным, несутся вдоль курортного задника с вынесенными ко входам в санаторий вазонами с олеандрами, мимо фальшивых гипсовых колонн, мелким блеском сверкающего вечнозеленого самшита, мимо неряшливых, натруженных от павильонной жизни пальм, и местная мордастая проститутка Серафима мелькнула в глубине кадра, и несколько крепких шахтеров с выпученными глазами, и музыка — конечно, «О, море в Гаграх»... И при этом ноги ее радостно пружинили в такт его походки, и легкость праздника в теле, и даже какое-то бессловесное веселье, как будто шампанское уже было выпито.

Подвальчик, куда привела Маша Бутонова, ему понравился. Шампанское, которое принесли, было холодным и очень вкусным. Кино, которое начали показывать по дороге к набережной, продолжалось. Маша видела себя сидящей на круглом табурете, как будто сама находилась чуть правее и позади, видела Бутонова, повернувшегося к ней вполоборота, и, что самое забавное, одновременно и золотозубую, в золотой кофте барменшу, которая находилась у нее за спиной, и мальчиков,

полугрузчиков-полуофициантов, которые тащили из подвала, с заднего хода, ящики. Все приобретало кинематографический охват и одновременно кинематографическую приплюснутость. И еще — обратила внимание Маша — в качестве теневой фигуры сама она выглядит хорошо, сидит спокойно и прямо, профиль красивый, и волосы узким мысом сходят на длинную шею сзади...

Да-да, кино разрешает игру, разрешает легкость... страсть... брызги шампанского... он и она... мужчина и женщина... ночное море... Ника, ты гениальная, ты талантливая... никакой тяжести бытия... никаких натуженных движений к самопознанию, самосовершенствованию, к само...

— Отлично здесь, — сказала она с Никиной интонацией.

— Хорошее винцо... Еще налить?

Маша кивнула.

Умная Маша, образованная Маша, первая из всей компании начавшая читать Бердяева и Флоренского, любившая комментарии к Библии, к Данте и к Шекспиру больше, чем первоисточники, выучившая домашним способом, если не считать плохонького заочного педагогического, английский и итальянский, написавшая две тоненьких книжечки стихов, правда еще не изданных; Маша, умевшая поговорить с заезжим американским профессором об Эзре Паунде и о Никейском соборе с итальянским журналистом-католиком, — молчала. Не хотелось ей ничего говорить.

— Еще налить? — Бутонов посмотрел на часы. — Ну что, попробуем еще раз позвонить?

— Куда? — удивилась Маша.

— Домой, куда... — засмеялся Бутонов. — Ты даешь.

Кино как будто немного отодвинулось, дав место прежнему беспокойству.

Но курортные декорации снова вытянулись по струнке, пока они шли обратной дорогой к почте.

Бутонов сразу же дозвонился, задал несколько коротких деловых вопросов, узнал от жены, что поездка в Швецию не решилась, и повесил трубку. Маша звонила следом за ним, и теперь ей хотелось только одного: чтобы Алика дома не было. Его и не было. Звонить Сандре она не стала — там рано укладывались спать, и к тому же Ника завтра будет в Москве, и письмо Сандре она уже написала.

— Не дозвонилась? — рассеянно спросил Бутонов.

— Дома нет. Закатился куда-то мой муж.

Эти слова были сплошной ложью — она так не думала. Алик, скорее

всего, был на дежурстве. Кроме того, ложь была и в том, как небрежно она это произнесла...

Но по закону кино, которое продолжалось, все было правильно.

— Ну что, пошли? — спросил Бутонов и посмотрел на Машу с сомнением.

— Может, такси?

— Нет здесь никакого такси, всю жизнь здесь по ночам пешком ходим.

Днем-то дозвониться невозможно. Два часа ходу...

Они свернули с освещенной улицы в боковую, прошли метров пятьдесят. Ни фонари, ни олеандры здесь не произрастали, улица сразу стала деревенской, черной. К тому же дорога шла то криво в горку, то, спотыкаясь, спускалась вниз. Темень на земле была непроглядной, зато на небе тьма не была такой равномерной, над морем небо было как будто светлее, а западный край хранил слабое воспоминание о закате. Даже звезды были какие-то незначительные, вполнакала.

— Здесь скостим немного. — Маша юркнула вниз по стоптанной глинистой тропинке, не то к лесенке, не то к мостку.

— Неужели ты видишь что-нибудь? — Бутонов коснулся ее плеча.

— Я как кошка, у меня ночное видение. — В темноте он, не видя ее улыбки, решил, что она шутит. — В нашей семье это бывает. Между прочим, очень удобно: видишь то, чего никто не видит...

Это была такая многозначительная женская подача сигнала, пробросок, чтобы уменьшить расстояние между людьми, огромное, как бездна морская, но способное сворачиваться в один миг.

Они вошли в Поселок, и Маша понимала, что через несколько минут они расстанутся, и это было невозможно.

— Стой! — сказала она ему в спину, когда они проходили мимо Пупка. — Вот сюда.

Он послушно свернул в сторону. Теперь Маша шла впереди.

— Вот здесь, — сказала она и села на землю.

Он остановился рядом. Ему вдруг показалось, что он слышит удары ее сердца, а у нее самой было такое ощущение, что сердце отбивает набат на всю округу.

— Сядь, — попросила она, и он присел рядом на корточки.

Она обхватила его голову:

— Поцелуй меня.

Бутонов улыбнулся, как улыбаются домашним животным:

— Очень хочется?

Она кивнула.

Он не чувствовал ни малейшего вдохновения, но привычка добросовестного профессионала обязывала. Прижав ее к себе, он поцеловал ее и удивился, какой горячий у нее рот. Ценя во всяком деле правила, он и здесь их соблюдал: сначала раздень партнершу, потом раздевайся сам. Он провел рукой по молнии ее брюк и встретил ее судорожные руки, расстегивающие тугую молнию. Она выскользнула из жестких тряпок и теребила пуговицы его рубашки. Он засмеялся:

— Тебя что, дома совсем не кормят?

Это ее забавное рвение его немного взбудоражило, но он не чувствовал себя в хорошей готовности, медлил. Горячие касания ее рук — Ника, Ника, я взяла! — отчаянный стон — Бутонов! Бутонов! — и он понял, что может произвести необходимые действия.

Изнутри она показалась ему привлекательней, чем снаружи, и горячее, как давняя его любовь — наездница Розка.

— У тебя там что, печка? — засмеялся он.

Но она смеяться и не думала, лицо ее было мокрым от слез, и она только бормотала:

— Бутонов, какой ты!.. Бутонов, ты...

Бутонов ощутил, что девушка сильно опережает его по части достижений, и уверился, что она из той же породы, к которой принадлежала Розка, — яростная, скорострельная и даже внешне немного похожая, только без африканских волос. Он обхватил ее маленькую голову, больно прижав уши, сделал движение, от которого удары ее сердца почувствовал так, словно находился у нее в грудной клетке. Он испугался, что повредил ее, но было уже поздно — извини, извини, малышка...

Когда он встал на колени и поднял голову, ему показалось, что они попали в луч прожектора: воздух вокруг светился голубоватым светом и видна была каждая травинка. Никакого прожектора не было — посреди неба катилась круглая луна, огромная, совершенно плоская и серебряно-голубая.

— Извини, но представление окончено. — Он шлепнул ее по бедру.

Она встала с земли, и он увидел, что она хорошо сложена, только ноги чуть кривоваты и поставлены, как у Розки, таким образом, что немного не сходятся наверху. Этот узенький треугольный просвет ему нравился — лучше уж, чем толстые ляжки, которые трутся друг о дружку и набивают красные пятна, как у Ольги.

Он был уже одет, а она все стояла в лунном свете, и он истолковал ее медлительность ложным образом, — но теперь ему хотелось спать, а перед сном еще додумать свою думу об отодвинувшейся поездке...

Поселок был теперь весь как на ладони, и Бутонов увидел ту тропинку, которая вела его прямо к Витькову дому, на задах Адочкиного двора. Он прижал к себе Машу, провел пальцем по ее тонкому хребту:

— Тебя проводить или сама добежишь?

— Сама, — но не ушла, задержала его:

— Ты не сказал, что любишь меня...

Бутонов засмеялся, настроение у него было хорошее:

— А чем мы с тобой тут только что занимались?

Маша побежала к дому — все было новое: руки, ноги, губы... Какое-то физическое чудо произошло... какое безумное счастье... неужели то самое, за чем Ника всю жизнь охотится?.. Бедный Алик...

Маша заглянула к детям: посреди комнаты стоял уже собранный рюкзак.

Лиза и Алик спали на раскладушках, Катя стройно вытянулась на тахте. Ники не было — вероятно, легла в Самониной комнате, подумала Маша. Был большой соблазн разбудить ее немедленно и все выложить, но решила все же среди ночи ее не тревожить. Дверь в комнату Самони она не открыла и на цыпочках прошла в Синюю...

Приключения Бутонова в тот вечер еще не кончились. Дверь в Витьков дом он нашел приоткрытой и удивился: обычно он закладывал ее снаружи на петлю, хотя замка и не вешал. Он вошел, скрипнув дверью, скинул кроссовки на половичке и прошел во вторую комнату. На высокой постели, по-украински сложноустроенной: с подзором, покрывалом, горой регулярных подушек, которую каждое утро по ранжиру выстраивала Ада, — на белом тканевом одеяле, разметав длинные волосы по разоренным подушкам, спала Ника. На самом деле она уже проснулась, услышав скрип двери. Она открыла глаза и засияла несколько разыгранной счастливой улыбкой:

— Вам сюрприз! С доставкой на дом!

...Второй подход к снаряду всегда был у Бутонова удачней первого. Ника была проста и весела, не омрачала последней ночи глупыми упреками, не сказала ничего такого, что могла бы сказать обиженная женщина. Бутонов, исходя все из тех же правил обращения с женщинами, первым из которых он не успел сегодня воспользоваться из-за расторопности Маши, воспользовался вторым, но самым главным: никогда не пускаться с женщинами в объяснения. На рассвете, к полному и взаимному удовольствию, Ника покинула Бутонова, не забыв записать свой телефон в его записную книжку...

Когда Ника вернулась, Медея уже сидела с чашкой, распространяющей

запах утреннего кофе, и по лицу ее не было понятно, видела ли она из кухонного окна, как Ника возвращается домой. Впрочем, скрывать что бы то ни было от Медеи нужды не было: молодежь всегда была уверена, что Медея знает все про всех. Ника поцеловала ее в щеку и тут же вышла.

Проницательность Медеи, вообще говоря, сильно преувеличивали, но именно сегодня она оказалась в эпицентре: ночью, в третьем часу, после терпеливого и бесплодного ожидания сна она вышла на кухню, чтобы выпить свой «бессонный декокт», как называла она заваренную с медом ложку мака, вышедшая одновременно с ней луна осветила взгорок, на котором резвилась молодая парочка, ослепительно сверкая белыми неопознанными телами. Немного спустя, когда она уже выпила свой декокт мелкими внимательными глотками и лежала в своей комнате, она слышала, как отворилась соседняя дверь и легко звякнули пружины. «Маша вернулась», — подумала Медея и задремала.

Теперь, видя вернувшуюся утром Нику, Медея на минуту задумалась: молодой человек, собственно говоря, был один на всю округу — спортсмен Валера с железным телом и поповской прической хвостиком. Так Медея отметила это событие и сложила его туда, где хранились прочие ее наблюдения о жизни молодой родни с их горячими романами и нестойкими браками.

Снова вошла Ника, с горой только что снятого с веревки белья:

— Для литовцев приготовила. Еще поглажу до отъезда...

В полдень сосед отвозил в Симферополь Нику, Катю и Артема.

За полчаса до полудня Ника со стопкой свежего белья вошла в Синюю комнату, которую Маша освобождала для литовцев, и здесь-то, впервые за утро оставшись с Машей наедине, Ника получила безмерно ее удивившее признание.

— Ника, это ужасно! — сияла Маша осунувшимся лицом. — Я так счастлива! Все оказалось так просто... и потрясающе! Если бы не ты, я никогда бы не осмелилась...

Ника села на стопку белья.

— Не осмелилась — что?

— Я взяла его, как ты сказала, — засмеялась Маша счастливым смехом.

— Оказалось, ты права. Как всегда, права. Надо было только руку протянуть.

— Когда? — только и смогла выдавить Ника.

Маша начала подробный рассказ, как на почте... Но Ника ее остановила: не было у нее времени на пространный рассказ, она задала еще

только один, и, казалось бы, совершенно странный, вопрос:

— Где?

— На Пупке! Прямо на Пупке все и произошло. Как в итальянском кино.

Теперь на этом месте можно поставить крест в память о моей нестигаемой верности мужу! — И Маша улыбнулась своей умной и прежней улыбкой.

Ника никак не предполагала, что ее раздраженный совет будет принят с такой торопливой буквальностью. Но Бутонов был не промах...

— Ну что же, Машка, теперь тебе будет о чем стихи писать, любовную лирику... — предсказала Ника. И нисколько не ошиблась.

«Нехорошо как... Подарить, что ли, ей этого спортивного доктора, — думала Ника. — Ладно, все равно я уезжаю. Как будет, так и будет...»

* * *

Сундучок кожаный, в деревянных гнутых ободьях, выклеенный изнутри бело-розовым полосатым ситцем, наполненный перегородчатыми коробками, сложновзаимодействующими между собой и образующими ряд полочек и отделений, принадлежал некогда Леночке Степанян. С этим сундучком она вернулась в девятьсот девятом году из Женевы, с ним путешествовала из Петербурга в Тифлис, с ним в одиннадцатом году приехала в Крым. С этим сундучком она вернулась в Феодосию в девятнадцатом, и здесь, перед отъездом в Ташкент, он был подарен Медее.

Три поколения девочек замирали перед ним с вожделением. Все они верили в то, что сундучок Медеи полон драгоценностями. И в самом деле, там лежало несколько бедных драгоценностей: большая перламутровая камея без оправы, которую проели в двадцать четвертом году, три серебряных кольца и кавказский наборный пояс, мужской, и к тому же на очень узкую талию. Но помимо этих ничтожных драгоценностей в сундучке было все, о чем мог мечтать Робинзон Крузо. В безукоризненном порядке, надежно упакованными лежали свечи, спички, нитки всех цветов, иголки и пуговицы всех размеров, шпульки к несуществующим швейным машинкам, крючки для брюк, шуб, рыбной ловли и вязанья, марки царские, крымские, немецкие оккупационные, шнурки, тесьма, кружево и прошивки, тринадцать разноцветных прядей волос от первой стрижки

годовалых детей Синопли, завернутых в папиросную бумагу, множество фотографий, трубка старого Харлампия и еще много чего.

В двух нижних ящиках хранились письма — разложенные по годам, непременно в цельных конвертах, аккуратно вспоротых сбоку с помощью разрезального ножа. Здесь же хранились и разнообразные справки, среди них и курьезные, например бумага об изъятии велосипеда у гр. Синопли для транспортных нужд Добровольческой армии. Это был настоящий семейный архив, и, как всякий настоящий архив, он укрывал неразгласимые тайны. Впрочем, тайны попали в надежные руки и сохранялись, насколько это от Медеи зависело, довольно тщательно, по крайней мере первая из имеющихся. Она содержалась в письме, на имя Матильды Цырули, которое было помечено февралем тысяча восемьсот девяносто второго года. Пришло письмо из Батума, написано оно было на очень плохом русском языке и подписано грузинским именем Манана. Медея предполагала, что Манана была женой старшего брата Матильды, которого звали, кажется, Сидором. Письмо, с выправленной орфографией, следующее:

"Матильда дорогая подруга, на той неделе еще говорили, что они утопи, твой Тересий и братья Кармаки. А позавчера в Кобулетах вынесло его на берег.

Узнавали его свидетели Вартанян и Курсуа-фуражка. Похоронили и Царствие Небесное, больше ничего не могу сказать. Когда ты сбежала, он стал еще злей, побил дядю Платона, с Никосом всегда дрался. Тебя Бог отпустил. У меня очень болят ноги. Ту зиму почти не могла ходить. Исидор мне помогает. Ему будет большая награда. Венчайся сразу теперь. Любовь мою тебе посылаю и Бог с тобой. Манана".

Медея нашла это письмо спустя несколько лет после смерти родителей и скрыла его от братьев и сестер. Когда юная Сандрочка начала свои первые похождения, Медея рассказала ей эту историю с какой-то смутной педагогической целью. Она как будто пыталась заклясть Сандрочкину судьбу, предупредить неудачи и трудный поиск участи, через который, как следовало из этого письма, прошла их мать Матильда. Медея была глубоко убеждена, что легкомыслие приводит к несчастью, и никак не догадывалась, что легкомыслие с равным успехом может привести и к счастью, и вообще никуда не привести. Но Сандра с детства вела себя так, как хотела ее левая нога, и Медея никогда не могла понять этого непостижимого для нее закона «левой ноги», закона прихоти, ежеминутного желания, каприза или страсти. Вторая семейная тайна была связана именно с этой Сандрочкиной особенностью и до поры была скрыта

от самой Медеи на нижней полке однодверного платяного шкафа, в офицерской полевой сумке Самуила Яковлевича.

В маленькой комнате, где Самуил провел последний, мучительный, год своей жизни, Медея устроили теперь себе уголок. Развернула мужнино кресло к окну, поставила сбоку сундук, на нем разложила те несколько книг, которые постоянно читала. В этой комнате она все время меняла белые занавески на еще более белые, стирала белесую крымскую пыль с книжной полки и шкафа с Самуиловыми вещами. Вещей его она не трогала.

Весь тот год Медея читала Псалтирь, каждый вечер по кафизме, заканчивала и начинала снова. Псалтирь у нее была старая, церковнославянская, сохранившаяся от детства. Вторая, греческая, принадлежавшая Харлампию, была для нее трудна, поскольку была написана не на языке понтийских греков, а на современном греческом, значительно отличавшемся. Еще была русско-еврейская, с параллельным переводом, виленского издания конца прошлого века, которая вместе с двумя другими еврейскими книгами лежала теперь на крышке сундучка. Медея иногда пыталась читать Псалтирь по-русски, и хотя некоторые места были как будто яснее по смыслу, но терялась таинственная красота затуманенного славянского...

Медея прекрасно помнила смуглое лицо молодого человека с толстой грубо раздвоенной верхней губой, его заостренный на кончике нос и большие плоские отвороты коричневого пиджака, когда он решительно подошел к Самуилу, сидящему на лавочке возле феодосийской автостанции в ожидании симферопольского автобуса. Молодой человек, прижимая локтем к боку три книги, остановился возле Самуила и задал лобовой вопрос:

— Извините, вы еврей?

Самуил, замученный болями, молча кивнул, не пожелав блеснуть какой-нибудь из своих обычных шуток.

— Возьмите, пожалуйста, у нас умер дед, и никто этого языка не знает.

— Молодой человек начал совать в руки Самуилу потрепанные книги, и тут стало видно, что он страшно смущен. — Вы, может, почитаете когда-нибудь.

Хаим звали моего деда...

Самуил молча раскрыл верхнюю книгу.

— Сидур... Я таки плохо учился в хедере, молодой человек, — задумчиво сказал Самуил, а юноша, видя нерешительность Самуила, заторопился:

— Вы, пожалуйста, возьмите, возьмите. Я же не могу их выбросить. Нам на что, мы же неверующие...

И коричневый юноша убежал, оставив три книги на лавке возле Самуила.

Самуил посмотрел на Медею больными глазами:

— Ну, ты видишь, Медея... — Он запнулся, потому что догадался, что она видит все, что видит он, а сверх того еще кое-что, и ловко вывернулся:

— Такую тяжесть придется теперь тащить в Симферополь и обратно...

Последний листок надежды облетел. Верующая не в случайность, а в Божий промысел, она поняла этот внятный знак без сомнения: готовься! И никакая биопсия, за которой они ехали в областную больницу, была ей с этой минуты не нужна.

Они посмотрели друг на друга, и даже Самуил, привыкший проговаривать немедленно все, что ни приходило ему в голову, промолчал.

Биопсии в Симферополе ему делать не стали, прооперировали на второй день, вынули большую часть толстого кишечника, сделали вывод в бок, стопу, и через три недели привезла его Медея домой, умирать.

Однако после операции ему постепенно делалось все лучше. Он, как ни странно, окреп, хотя худоба его была чрезвычайна. Медея кормила его одними кашами и поила травами, которые сама и собирала. Через несколько дней после возвращения из больницы он стал читать эти ветхие книги, и самый никудышный ученик Ольшанского хедера в последний год своей жизни, благословляя неизвестного ему Хаима, возвращался к своему народу, а православная Медея радовалась. Она никогда не изучала богословия и, может быть, благодаря этому чувствовала, что лоно Авраамово находится не так уж далеко от тех мест, где обитают христианские души.

Прекрасным был этот последний год его жизни. Осень стояла на дворе тишайшая, кроткая, необыкновенно щедрая. Старые татарские виноградники, давно не чищенные и заброшенные, одарили землю своим урожаем. В последующие годы старые лозы окончательно выродились, и вековые труды пропали даром.

Груши, персики и помидоры ломили ветви. За хлебом стояли очереди, сахару в продаже не было. Хозяйки варили и солили томаты, сушили на крышах фрукты, а умелые, вроде Медеи, готовили татарскую пастилу без сахара. Украинские свиньи жирели на сладкой падалице, и медовый дух тлеющих плодов висел над Поселком.

Медея тогда заведовала больничкой — только в пятьдесят пятом прислали туда врача, а до той поры она была единственным фельдшером в

Поселке. Ранним утром она входила в комнату мужа с тазом теплой воды, снимала нескладный и грубо сделанный аппарат с больного бока, чистила, обмывала рану отваром ромашки с шалфеем. Он, морщась не от боли, а от неловкости, бормотал:

— Ну где же справедливость? Мне достался мешок с золотом, а тебе мешок с говном...

Она кормила его водянистой кашей, поила из пол-литровой кружки травным отваром и ждала, подставив под бок лоток, пока каша, совершив свой короткий путь, не изольется из открытой раны. Она знала, что делала: травы вымывали из него яд болезни, пища же практически не усваивалась. Смерть, к которой оба они готовились, должна была наступить от истощения, а не от отравления.

Брезгливый Самуил поначалу отворачивался, страдал от обнажения всей этой неприятной физиологии, но потом почувствовал, что Медея не делает ни малейшего усилия, чтобы скрыть отвращение, что воспалившийся край раны или задержка этого самого истекания слегка изменившей вид каши действительно волнуют ее гораздо больше, чем неприятный запах, идущий от раны.

Боли были сильными, но нерегулярными. Иногда несколько дней проходили спокойно, потом образовывалось какое-то внутреннее препятствие, и тогда Медея промывала стопу кипяченым подсолнечным маслом, и все опять налаживалось. Это была все-таки жизнь, и Медея готова была нести этот груз бесконечно...

По утрам часа три она проводила возле мужа, к половине девятого уходила на работу и прибегала в обед. Иногда, когда в пару с ней работала Тамара Степановна, старая медсестра, та отпускала ее с обеда, и уж больше Медея на работу не возвращалась. Тогда Самуил выходил во двор, она усаживала его в кресло и сама садилась рядом на низкой скамеечке, чиркая маленьким ножичком с почти съеденным лезвием по грушам или очищая от кожицы зашпаренные помидоры.

К концу жизни Самуил стал молчалив, и они тихо сидели, наслаждаясь взаимным присутствием, покоем и любовью, в которой не было теперь никакого изъяна. Медея, никогда не забывавшая о его редком природном беззлобии, о том событии, которое он считал своим несмываемым позором, а она — искренним проявлением его кроткой души, радовалась теперь тихому мужеству, с которым он переносил боль, осознанно и бесстрашно приближался к смерти и буквально источал из себя благодарность, направленную на весь Божий свет и в особенности на нее, Медею.

Он обычно ставил кресло так, чтобы видны были столовые горы,

сглаженные холмы в розово-серой дымке.

— Здешние горы похожи на Галилейские, — повторял он вслед за Александром Ашотовичем Степаняном, которого никогда не видел, как и Галилейских гор. Знал только со слов Медеи.

Ту книгу, отрывки из которой когда-то хуже всех он прочитал на празднике своего совершеннолетия полвека тому назад, он читал медленно.

Забытые слова, как пузырьки воздуха, поднимались со дна памяти, а если этого не происходило и квадратные буквы не желали ему открывать своего сокровенного смысла, он искал в параллельном русском переводе приблизительную подсказку.

Сил у него было мало. Все, что он делал, он делал теперь очень медленно, и Медея замечала, как изменились его движения, с какой значительностью и даже торжественностью он подносит чашку ко рту, вытирает иссохшими пальцами отросшие за последние несколько месяцев усы и короткую с проседью бороду. Но словно в компенсацию за этот физический упадок — а может, Медеины травы так действовали — голова была ясная, мысли хоть и медлительные, но очень четкие. Он понимал, что времени жизни осталось мало, но, как ни удивительно, чувство вечной спешки и присущая ему суетливость совершенно оставили его. Теперь он мало спал, дни и ночи его были очень длинными, но он не тяготился этим: сознание его перестраивалось на иное время. Глядя в прошлое, он изумлялся мгновенности прожитой жизни и долготе каждой минуты, которую он проводил в плетеном кресле, сидя спиной к закату, лицом к востоку, к темнеющему сине-лиловому небу, к холмам, делающимся в течение получаса из розовых хмуро-голубыми. Глядя в ту сторону, он совершил еще одно открытие: оказалось, что всю жизнь он прожил не только в спешке, но и в глубоком, от себя самого скрываемом страхе, вернее, во многих страхах, из которых самым острым был страх крови. Вспоминая теперь то ужасное событие в Василищеве — расстрел, которым он должен был руководить и которого так и не увидел, позорно грохнувшись в нервный припадок, он благодарил теперь бога за неприличную для мужчины слабость, за нервно-дамское поведение, спасшее его от душегубства.

«Трус, трус», — признавался он себе, но и здесь не упускал случая поиронизировать: она его за трусость полюбила, а он ее — за снисхождение к ней...

«А трусость свою, — так теперь судил себя Самуил, — всегда за баб прятал».

Психоаналитик, возможно, вытянул бы из Самуилова случая какой-

нибудь комплекс с мифологическим названием и уж, во всяком случае, объяснил бы повышенную сексуальную агрессивность молодого дантиста подсознательным вытеснением страха перед кровавой жизнью с помощью простых возвратно-поступательных движений в податливой мякоти пышнотелых дам...

Женившись на Медее, он прикрывался от вечного страха ее мужеством... Его хохмы, шуточки, постоянное желание вызвать улыбку у окружающих были связаны с интуитивным знанием: смех убивает страх. Оказалось, что смертельная болезнь тоже может освобождать от страха жизни.

...Тепло стояло необыкновенно долго для здешних мест — до самого конца ноября. Зато с первых же дней декабря начались холодные дожди, быстро переходившие в снег, и шторма. Хотя море было довольно далеко и значительно ниже, морской непокой доносился до Поселка, усиливаясь по ночам. Ветер нес в себе массы явной и скрытой воды, и толстая водяная подушка над землей была столь плотной, что невозможно было и вообразить, что наверху, всего лишь километрах в пяти выше этого холодного месива, сияет неистощимое безмерное солнце.

Самуил перестал выходить на улицу. Медея отнесла плетеное кресло в летнюю кухню и повесила на нее зимний замок. Готовила она теперь в доме, на плите, да еще подтапливала небольшую печь, сложенную в год их переезда феодосийским печником, — татары обыкновенно в домах печей не ставили, да и полы оставляли земляными. Их тоже настилали на другой год после переезда привозным лесом.

Самуил попросил повесить в его комнате плотные занавески. Он не любил сумеречного, промежуточного света, задерживал темно-синие шторы и зажигал настольную лампу. Когда же выключали электричество — а это случалось довольно часто, — он зажигал старую «шахтерку», которая давала яркий беловатый свет. Окна теперь держали закрытыми, и Медея постоянно жгла в самодельных светильничках настоящее на травах масло, и в доме стоял сладкий восточный аромат. Газет Самуил не читал, даже космополиты, время от времени вылавливаемые во всех областях науки и культуры, перестали его интересовать.

Он добрался уже до книги Левит. Если первые две — Бытие и Исход — он вспоминал почти дословно, потому что архаическая методика обучения в хедере состояла именно в заучивании текстов наизусть, то третья, Левит, показалась ему совсем незнакомой. Эта малоувлекательная книга, адресованная главным образом к священникам, содержала почти половину из шестисот тринадцати заповедей, на которых была натянута

еврейская жизнь. Самуил долго вчитывался в эту странную книгу и все не мог взять в толк, почему это «из пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах», есть можно только тех, «у которых есть голени выше ног, чтобы скакать по земле». Из них годными для еды объявлялась лишь саранча и никому не известные солам, харгол и хараб, а всякие другие считались скверными. Никаких, абсолютно никаких логических объяснений этому не давалось. Он был топорным и негибким, этот закон, и много места в нем уделялось всяким ритуалам, связанным с храмовым богослужением, что было совершенной уже бессмыслицей ввиду давнего отсутствия храма и полной невозможности когда-нибудь его восстановить. Потом он заметил, что общие очертания этого неповоротливого закона, намеченные еще в Исходе и полностью разработанные в Талмуде, рассматривают все мыслимые и немыслимые ситуации, в которые может попасть человек, и дают точные предписания поведению в этих обстоятельствах, и все эти хаотически наложенные запреты преследовали единственную цель — святость жизни народа Израиля и связанное с этим полное отвержение законов «земли Ханаанской». Это был путь, предлагаемый ему с юности, и он от него отказался. Более того, от законов «земли Ханаанской», которые обещали не святость, но относительный порядок, он тоже отказался и в юности своей успел потрудиться для разрушения их...

Исследуя теперь древнее еврейское законодательство, он приходил к мысли о глубочайшей беззаконности, в которой жили люди его страны и он сам среди них. Собственно, это был всеобщий закон беззакония, хуже Ханаанского, которому одновременно подчинялась и невинность, и дерзость, и ум, и глупость... И единственным человеком, как он теперь догадывался, действительно живущим по закону, была его жена Медея. То тихое упрямство, с которым она растила детей, трудилась, молилась, соблюдала свои посты, оказалось не особенностью ее странного характера, а добровольно взятыми на себя обязательствами, исполнением давно отмененного всеми и повсюду закона.

Впрочем, он знал и других людей такого же устройства: его покойный дядя Эфраим, убитый мимоходом подвыпившим солдатом, исчезнувшим в конце улицы не оглянувшись, и, возможно, таким человеком был слабоумный садовник Раис, молодой татарин, в маленькой своей головке удерживающий всего два правила: всем улыбаться и тщательно, идиотически тщательно убирать дорожки санаторского парка...

Он, привыкший всегда пробалтывать Медее все, что ни приходило ему в голову, теперешние свои мысли удерживал в себе — не из боязни быть

непонятым, а скорее из ощущения, что не сможет выразить их во всей точности.

Медея по редким его высказываниям понимала, как изменилась вся его внутренняя жизнь, радовалась этому, но была слишком озабочена его физическим состоянием, чтобы глубоко вникать в эту перемену. У него начались боли в спине, и теперь она делала ему уколы, чтобы он мог уснуть.

Декабрь миновал, штормы утихли, но по-прежнему было сумрачно и холодно.

Уже с середины января они начали ждать весну. Медея, прежде аккуратно отвечавшая на письма родственников, теперь отзывалась лишь краткими почтовыми открытками: письмо получила, спасибо, у нас все по-прежнему, Самуил, Медея...

Времени на письма у нее не оставалось. За всю зиму она написала только два настоящих письма — Леночке и Сандрочке.

Февраль тянулся бесконечно, и в нем, как нарочно, было еще и двадцать девятое число. Зато в десятых числах марта солнце, показавшись, уже не пропускало ни часу, и сразу все пошло зеленеть. По дороге с работы Медея, поднявшись на согретый солнцем склон, срывала несколько фиалок и асфodelей, укладывала их на блюдечке на столе возле Самуила. Он почти не вставал и даже не садился, потому что в сидячем положении боли как будто усиливались. Ел он теперь один раз в день, потому что процесс еды был для него слишком утомительным. Лицо его все продолжало меняться, и Медея находила его одухотворенным и прекрасным.

Последнее воскресенье марта выдалось совсем теплым и безветренным, и Самуил попросил вывести его во двор. Она вымыла кресло, просушила его на солнце, застелила старым одеялом. Потом одела Самуила, и ей показалось, что его пальто весит больше, чем он сам. Двадцать шагов от кровати до кресла он прошел медленно, с величайшим трудом. На ближнем откосе тужились тамариски, веточки их напряглись лиловым цветом, который весь хранился еще внутри. Он смотрел в сторону столовых гор, а они смотрели на него дружелюбно, как равные на равного.

— Господи, как хорошо... как красиво, — повторял он, и слезы текли сразу и от внутренних, и от наружных уголков запавших глаз и терялись в отросшей клином бороде.

Медея сидела рядом с ним на скамеечке и не заметила той минуты, когда он перестал дышать, — потому что слезы еще несколько минут текли из глаз...

Похоронили его на пятый день. Иссохшее тело терпеливо ожидало

приезда родственников, не проявляя признаков тления. Приехала Сандра с Сергеем, Федор с Георгием и Наташей, брат Димитрий из Литвы с сыном Гвидасом, вся мужская родня из Тбилиси. Мужчины отнесли его на руках на местное кладбище и сели за скромный поминальный стол. Медея не разрешила печь пироги и устраивать праздничное угощение. Стояла кутья, хлеб, сыр, блюдо среднеазиатской яркой зелени да крутые яйца. Когда Наташа спросила Медею, почему она так распорядилась, Медея ответила:

— Он еврей, Наташа. А у евреев вообще не бывает поминок. Приходят с кладбища, садятся на пол, молятся и постятся сколько-то дней. Признаюсь тебе, этот обычай мне показался правильным. Я не люблю наши поминки: всегда слишком много едят и пьют. Пусть будет так...

Со смерти мужа Медея надела вдовьи одежды — и поразила всех красотой и необыкновенным выражением мягкости, которого прежде в ней не замечали. С этим новым выражением она вступила в свое длинное вдовство.

Весь тот год Медея, как было уже сказано, читала Псалтирь и ожидала загробной вести от мужа с таким прилежанием, как ждут почтальона с давно отправленным письмом. Но все не получала. Несколько раз ей казалось, что долгожданный сон начинается и все уже полно присутствием мужа, но это ожидание разрушалось неожиданным — во сне же — приходом враждебного и незнакомого человека или — в реальности — сильным порывом ветра, который хлопал окном, выметая сон.

Первый раз он приснился в самом начале марта, незадолго до годовщины смерти. Сон был странным и не принес утешения. Прошло несколько дней, прежде чем он разъяснился.

Самуил приснился ей в белом халате — это было хорошо, — с руками, испачканными гипсом или мелом, и с очень бледным лицом. Он сидел за рабочим столом и стучал молоточком по какому-то неприятному остро-металлическому предмету, но это был не зубной протез. Потом он обернулся к ней, встал. И оказалось, что в руках у него портрет Сталина, почему-то вверх ногами. Он взял молоточек, постучал им по краю стекла и аккуратно его вынул. Но пока он манипулировал со стеклом, Сталин куда-то исчез, а на его месте обнаружилась большая фотография молодой Сандочки.

В тот же день объявили о болезни Сталина, а через несколько дней и о смерти. Медея наблюдала живое горе и искренние слезы, бессловесные проклятия тех, кто не мог это горе разделить, но оставалась вполне равнодушной к этому событию. Гораздо больше она была озабочена второй половиной сна... Что делала в нем Сандручка, что предвещает ее

присутствие? Медея смутно тревожилась и даже собиралась пойти на почту позвонить в Москву.

Прошло еще две недели, наступила годовщина смерти Самуила. Погода выдалась в тот день дождливая, и Медея вся вымокла, пока добиралась с кладбища домой. На следующий день она решила убрать комнату мужа, разобрать его вещи, кое-что раздать и, главное, найти кое-какие инструменты и небольшой немецкий электромоторчик, обещанный сыну феодосийской приятельницы...

Рубашки она сложила стопочкой, хороший костюм оставила для Федора — может, пригодится. Еще были два свитера — они сохранили живой запах мужа, и она задержала их в своих руках, решивши не отдавать никому, оставить себе...

На самом дне шкафа она нашла полевую сумку с разными справками: документ об окончании школы протезирования при Наркомздраве, справку об окончании рабфака, несколько грамот и официальных поздравлений.

«Переложу ее в сундучок», — подумала Медея и открыла малозаметное боковое отделение. В нем лежал тонкий конверт, надписанный Сандрочкиной рукой. Адресовано было письмо Мендесу С. Я., на судакский почтамт, до востребования. Это было странно.

Машинально она открыла конверт и запнулась на первой же строчке.

«Дорогой Самоша», — было написано Сандрочкиной рукой. Никто его так не называл. Старшие звали его Самоней, младшие — Самуилом Яковлевичем.

"Ты оказался гораздо более сообразительным, чем я предполагала, — читала дальше Медея. — Дело обстоит именно так, но из этого ровно ничего не следует, и лучше было бы, чтобы ты сразу же о своем открытии и забыл навсегда. Мы с сестрой полные противоположности: она святая, а я трижды свинья. Но лучше я умру, чем она узнает, кто отец этого ребенка. Поэтому умоляю: письмо это немедленно уничтожь. Девочка исключительно моя, только моя, и не думай, пожалуйста, что у тебя ребенок, — это просто одна из многих Медеиных племянниц. Девочка отличная. Рыженькая, улыбается. Кажется, будет очень веселая, и надеюсь, она не будет на тебя похожа. В том смысле, что эта тайна останется между нами двумя. За деньги спасибо. Они не были лишними, но, честно говоря, я не знаю, хочу ли я получать от тебя помощь.

Самое главное, чтобы сестре не пришло ничего в голову. А то у меня и так угрызения совести, а уж что со мной будет, если она что-нибудь узнает? А с ней? Будь здоров и весел, Самоша. Сандра".

Медея читала письмо стоя, очень медленно, прочла дважды. Потом

села в кресло. Неведомая никогда душевная тьма накатила на нее. До позднего вечера просидела она не меняя позы. Потом встала и начала собираться в дорогу. Спать в ту ночь она не ложилась. Наутро она стояла на автобусной остановке, в светлом габардиновом пальто поверх черного платья, в аккуратно повязанной черной шали, с большим рюкзаком и самодельной кошелкой в руке. На дне кошелки, в старинной ковровой сумочке, лежало заявление об отпуске, которое она решила отправить с дороги, документы, деньги и злополучное письмо. Первым же автобусом она уехала в Феодосию.

* * *

Десятого мая у Медеи произошла частичная пересменка: утром уехала Ника с Катей и Артемом, а после обеда приехали литовцы — сын Медеиноного брата Димитрия, умершего три года тому назад от запущенной сердечной болезни, Гвидас с женой Алдоной и больным мальчиком Виталисом. У малыша был диэнцефальный паралич, он был постоянно завязан в мучительную судорогу, коряво двигался и еле говорил. Гвидас с Алдоной, придавленные болезнью сына, навсегда застыли перед мазохистским и неразрешимым вопросом: за что?

Они приезжали сюда каждый год ранней весной, жили у Медеи недели две до начала купального сезона, потом Гвидас перевозил их в Судак, снимал удобную квартиру у моря, в бывшей немецкой колонии, у Медеиной приятельницы тети Поли, и уезжал. Снова он появлялся в середине июля, чтобы увезти их от жары в прохладную Прибалтику. Виталис страстно любил море и чувствовал себя счастливым только в воде. И еще он любил Лизу и Алика, они были единственными детьми, с которыми он общался. Трудно сказать, вспоминал ли он о них в зимние месяцы, но первая встреча с ними после разлуки была для него праздником.

Старшие готовили своих детей к приезду Виталиса, и дети были заряжены добрыми намерениями. Лиза выделила из своего медвежье-заячьего зоопарка лучшее животное для подарка, Алик построил в куче песка дворец, предназначенный Виталису на слом, — это была их постоянная игра: Алик строил, Виталис ломал, и оба радовались.

Маша перебралась в Самонину комнату, освободила для литовцев Синюю, которая была побольше.

Сама Маша находилась с утра в состоянии хаотического вдохновения: слова, строчки одолевали ее и она едва успевала закрепить их в памяти.

Постепенно образовалось: «Прими и то, что свыше меры, как благодать на благодать, как снег, как дождь, как тайну веры, как все, с чем нам не совладать...» На том дело и кончилось.

Одновременно и совершенно независимо Маша утешала Лизочку, которая крепилась-крепилась, но все-таки вскоре после отъезда матери расплакалась, потом накормила детей, уложила их спать и, бросив грязную посуду, легла в зашторенную Самонину комнату, собравшись в комочек и повторяя мысленно весь вчерашний вечер: и золотую кофту барменши, и движение, которым Бутонов крутил телефонный диск. Вспоминала также, как отозвалось ее тело на первое его случайное прикосновение еще тогда, в походе, когда прожгло ей руку и залихорадило.

"Вот точка судьбы, опять точка судьбы, — думала она, — первая — когда родители утром выехали на Можайское шоссе, в семь лет, вторая — когда Алик подошел на студии, в шестнадцать, и теперь — в двадцать пять. Перемена жизни. Перелом судьбы. Давно ждала его, предчувствовала. Милый Алик, единственный из всех, кто мог бы меня понять. Бедный Алик, у него, как ни у кого, есть это понимание судьбы, чувство судьбы... Ничего не могу поделать.

Неотменимо. Ничем не могу ему помочь..."

Ей тоже никто не мог помочь: чувство судьбы-то у нее было, но не было опыта адюльтера.

«...Любовь то гостьей, то хозяйкой, то конокрадом, то конем, то в час полуденный прохладой, то в час полуночный — огнем...» И заснула.

Вечером состоялись обычные посиделки. На месте Ники и ее гитары восседал Гвидас-громила в рыжих усах и его жена Алдона с мужским лицом и женственной, в парикмахерских локонах, прической. Рядом с Георгием — Нора.

Разговор тугой, в паузах. Не хватало Ники, одно присутствие которой делало любое общение гладким и непринужденным. Медея была довольна: Гвидас, как обычно, привез большую сумку литовских гостинцев, а кроме того, вручил приличную сумму денег на ремонт дома. Теперь они с Георгием вяло обсуждали подводку воды. В Нижнем поселке водопровод был, а к Верхнему его так и не подвели, хотя много лет обещали. Домов здесь было немного, все пользовались привозной водой, которую хранили либо в старых наливных колодцах, либо в цистернах, Георгий не был уверен в насосной станции — дойдет ли доверху вода.

Алдона часто выходила из кухни, прислушивалась под дверью Синей

комнаты, спит ли Виталис. Обычно он несколько раз за ночь с криком просыпался, но теперь, после тяжелого пути, спал хорошо.

Маша не принимала участия в разговоре. Шел одиннадцатый час, она еще не потеряла надежды, что зайдет Бутонов. Увидев, что Нора встала, она обрадовалась:

— Я провожу тебя?

Георгий замолк на полуслове, потом спохватился:

— Да я провожу, Маш.

— Я все равно хочу пройтись, — совершенно не вникая в тонкую ситуацию начинающегося романа, встала Маша.

К дому Кравчуков шли молча, гуськом. У задней калитки остановились. В Норином домике было темно и тихо, Таня спала, и Нора пожалела, что так рано ушла. Георгий собирался ей что-то сказать, но не знал, что именно, да и Маша мешала. Маша разглядывала кравчуковский доходный дом, с сараями, пристройками и террасками, но свет различила только у хозяев.

— Я к тете Аде зайду...

Маша постучала в хозяйскую дверь, вошла. Ада в позе мадам Рекамье, с вывалившимися розовыми грудями, полулежала у телевизора.

— Ой, Маш, ты, что ли? Заходи. Тебя что-то и не видно. Ника заходила, а ты гордая... Ой, а тощая какая, — неодобрительно заметила Ада.

— Да я всегда такая, сорок восемь килограммов...

— ...костей, — фыркнула Ада.

Маша договорилась насчет комнаты для своей московской подруги — с первого июня, и спросила, не сможет ли Михаил Степанович встретить ее в Симферополе.

— Откуда ж мне знать, у него график. Спроси сама. Он в сарае с постояльцем что-то разбирается... уж спать пора, а они там... — Как все местные, Ада ложилась спозаранку и была недовольна.

Маша подошла к сараю. Дверь была приоткрыта, лампа на длинном шнуре, подвешенная к гвоздю на стене, описывала световой овал, в котором склонились над верстаком две головы, Михаила Степановича и Бутонова.

— Ну, чего тебе? — не оборачиваясь, спросил Михаил.

— Дядь Миш, я насчет машины спросить...

— А, ты... — удивился он. — Я думал, Ада...

Бутонов смотрел на нее из света в темноту, и Маша не поняла, узнал ли он ее. Она вышла на свет, улыбнулась. Рот его был плотно сжат, две

пряди, не защемленные резинкой, висели, и он отвел их тыльной стороной лоснящейся черным маслом руки. Глаза его ничего не говорили. Маша испугалась: он ли это? Не приснился ли ей вчерашний лунный ожог? Она забыла, зачем пришла.

Впрочем, знала, за чем пришла: увидеть его, коснуться и получить доказательства того, что по природе своей не может иметь ни доказательств, ни опровержений, — свершившегося факта.

— Какая тебе машина? — спросил Михаил Степанович, и Маша очухалась:

— Подругу встретить из Симферополя.

— Когда?

— Первого июня. Она у вас жить будет, в горнице.

— Ту-у! — прогудел Михаил Степанович. — До первого дожить надо. Ближе к делу приходи.

Маша медлила, все ожидая, не скажет ли чего Бутонов или хоть не посмотрит ли в ее сторону. Но он щурился на металл, поводил обтянутыми вчерашней майкой плечами, головы не поднимал, но усмехнулся про себя: загорелась кошкина задница!

— Ладно, — шепнула Маша и, выйдя, прислонилась к стене сарая.

— Мотор-то в полном порядке, Степаныч, — услышала она голос Бутонова.

— А я те что говорю, — отозвался он. — Электрика барахлит, я так думаю.

«Он меня не узнал? Или не захотел узнать?» — мучилась Маша, не согласная ни на то, ни на другое. Ничего третьего в голову не приходило.

Была темнота, вчерашняя шальная луна освещала другие холмы и пригорки, другие любовники резвились в ее театральном свете, в застывшей магниевой вспышке.

Еле сдерживая слезы, она шла к дому не по короткой тропке, а через Пупок, чтобы убедиться хотя бы в реальности самого этого места, где вчера все произошло... И что это было? И может ли так быть, чтобы для одного человека это значило перемену судьбы, пропасть, разъятие небес, а другой просто вообще не заметил происшедшего?

На самой середине Пупка она села, скрестив ноги по-турецки. Левая рука ее уперлась в землю, а правая — в ее собственный клетчатый носовой платок, пролежавший здесь сутки и своей крахмальной скрюченностью как раз и являющий доказательство того, что вчерашнее событие действительно имело место. Она наконец заплакала, а поплавав немного, по многолетней привычке переводить все свои мысли и чувства в более или

менее короткие рифмованные строчки, забормотала: «Все отменю, что можно отменить: себя, тебя, беспечность и заботу... трудов любовных пьяную охоту и беспробудность трезвого житья...»

Получалось не совсем про то, но каким-то боком... «Все отменю, что можно отменить: беспамятство, забывчивость и память...»

Ничего не прояснилось, но стало немного легче. Сунув платок в карман, пошла в дом. Все давно спали. Она вошла в детскую, всю в слабых шевелящихся потоках света и тени — от полосатых занавесок. Дети спали. Алик сказал раздельно, не просыпаясь:

— Маша? — и забормотал что-то невнятное.

Маша легла в Самониной, рядом, — не вымыв ног, не зажигая света. Спать не могла, строки не складывались. Пожалев, что Ника уже уехала и не с кем ей разделить свои новые переживания, Маша зажгла лампу и взяла из стопы книг самую растрепанную — это был утешительный Диккенс.

Вскоре она услышала легкий стук в окно. Отодвинула темную штору — маленькое окно загоразживал Бутонов.

— Дверь откроешь или окно?

— Ты в окно не пролезешь, — ответила Маша, сбрасывая на пол Диккенса.

— Голова проходит, а все остальное уж как-нибудь, — ответил Бутонов вроде бы недовольным голосом.

Маша щелкнула задвижкой:

— Погоди, я стол отодвину.

Бутонов влез. Он был хмур, слов никаких не произнес, и она только слабо ойкнула, когда он обеими руками прижал ее к себе. На ощупь она была точно как Розка. Машины небеса опять разъялись, и ворота в них оказались совсем не в том месте, где она трудолюбиво и сознательно их искала, листая то Паскаля, то Бердяева, то пропахшую корицей восточную мудрость. Теперь Маша легко, без малейшего усилия попала туда, где время отсутствовало, а было лишь неземное пространство, высокогорное, сияющее острым светом, с движением, освобожденным от всякой обязательности физических законов, с полетом и плаваньем и полным забвением всего, что оставалось за пределом единственной реальности внешней и внутренней поверхности растворившегося от счастья тела.

Она еще медленно скользила вниз с последнего горного пика, когда услышала простодушно-плебейский вопрос:

— А закурить у тебя не найдется?

— Найдется, — ответила она, приземляясь голой хрупкой ступней на дощатый пол. Она пошарила ногой — пачка сигарет лежала где-то на полу.

Нащупала ногой пачку, дотянулась рукой, раскурила и передала ему сигарету.

— Вообще-то я не курю, — сообщил он как нечто о себе интимное.

— Я не думала, что ты придешь. Ты даже на меня не посмотрел, — ответила она, раскуривая вторую.

— Я разозлился, зачем ты туда притащилась, — просто объяснил он. — Спать хочется. Я пойду.

Он встал, натянул одежду, она отодвинула штору — светало.

— В дверь выпустишь или в окно лезть? — спросил он.

— В окно, — засмеялась Маша, — так будет ближе.

...Забавы Виталиса были самые младенческие: бросал наземь все, что ни попадало в руки, так что Алдона всегда держала для него эмалированную посуду, не стеклянную, ломал с удовольствием игрушки, рвал книжки и тоненько при этом смеялся. Иногда на него нападали приступы агрессивности, он махал сведенным кулачками и зло кричал.

Мальчик этот внес своим рождением раздоры в жизнь окружающих. Гвидас был в глубокой ссоре со своей матерью Аушрой, которая и вообще-то была против его ранней женитьбы на много старшей его Алдоне, еще и с ребенком от первого брака. И Гвидас, по настоянию матери, долго медлил с женитьбой. Но женился он сразу же, как только Алдона с неизлечимо больным ребенком — а это было с первой минуты определено — вышла из роддома. Аушра малыша даже и не видела.

Донатас, старший сын Алдоны, два года терпел сомнительные преимущества здорового ребенка перед больным, от тайной ревности перешел постепенно к открытой неприязни к брату, которого иначе чем «краб проклятый» не называл, и перебрался сначала к отцу, а через недолгое время, не прижившись в новой семье отца, к бабушке по отцовской линии, в Каунас.

Бедная Алдона и это должна была вынести. В неделю раз, в воскресенье, заранее собрав сумки с продуктами и игрушками, первым поездом уезжала в Каунас и последним — возвращалась. Бывшая свекровь, имевшая много собственного горя — литовско-хуторского, ссыльного, вдовьего, — молча принимала продукты. Пряча радостный или жадный блеск глаз, красивый широкоплечий Донатас брал из ее рук дорогие игрушки, показывал свои аккуратные тетради, полные скучных четверок ровно пополам с тройками, она занималась с ним математикой и литовским, а потом он провожал ее до калитки.

Дальше бабушка не пускала.

С тяжелым чувством Алдона уезжала из Вильнюса, оставив малыша с

Гвидасом, с тяжелым сердцем уезжала из Каунаса: всем нужны были ее заботы и труды, ее старание, никому — ее любовь и она сама. Для младшего она продолжала оставаться питающей и согревающей утробой, старший, как казалось, только ради подарков ее и терпел. Гвидас, женившийся на ней после большой любовной неудачи, здесь, на крымской земле, приключившейся, относился к ней ровно, гладко, без всякого внутреннего интереса.

— Слишком уж по-литовски, — сказала она ему в редкую минуту раздражения.

— А как иначе, Алдона? Иначе нам не выжить. Только по-литовски и возможно, — подтвердил он, а она, коренная литовка с прожилкой тевтонской крови, вдруг ожглась необычайным чувством: быть бы мне грузинкой, или армянкой, или хоть еврейкой!

Но ей не было даровано ни счастливое облегчающее рыдание, ни заламывание рук, ни освобождающая молитва — только терпение, каменное крестьянское терпение. Она и была агрономом, до рождения Виталиса заведовала тепличным хозяйством. Первый год жизни Виталиса, лишенная привычного зеленого утешения, она жестоко маялась, старательно училась быть матерью безнадежного инвалида, не спускала с рук своего косенького крошку, издающего слабый скрежет, совершенно нечеловеческий звук, когда она опускала его в кроватку.

На следующий год ранней весной она заполнила картонные стаканчики, развела рассаду, разбила под окном огород. Она опускала пальцы в землю, и все то злое электричество, которое вырабатывалось от сверхсильного терпения и напряжения, стекало в рыхлую буро-песчаную грядку, утыканную стрелами лука и розеточной листвой редиса. Горькие овощи хорошо родились на ее грядках...

Тогда Гвидас и начал строить дом в пригороде Вильнюса. Высокий забор он поставил еще до начала стройки: соседские глаза, нацеленные на маленького калеку, были непереносимы.

В строительство Гвидас вложил всю свою страсть, дом удался красивым, и жизнь в нем стала легче — Виталис в этом доме встал на ноги. Нельзя сказать, чтобы он научился ходить. Скорее, он научился передвигаться и вставать из сидячего положения. Изменения к лучшему происходили также после жизни на море, и Гвидас с Алдоной после постройки дома не отменили ежегодного паломничества в Крым, хотя трудно было бросать дом ради глупого дела — отдыха...

Десятки маленьких детей прошли через руки Медеи, включая и Димитрия, покойного деда маленького уродца Виталиса. Ее рукам было

знакомо изменчивое ощущение веса детского тела, от восьмифунтового новорожденного, когда ворох конвертика, одеяла и пеленок превышает само содержимое, до упитанного годовичка, не научившегося еще ходить и оттягивающего за день руки, как многопудовый мешок. Потом маленький толстяк подрастал, обучался ходить и бегать и через три года, прибавив несколько незначительных килограммов, бросался с бегу на шею и снова казался пух-пером. А лет в десять, когда ребенок тяжело заболел и лежал в жару, в пятнистом беспамятстве, он снова оказывался неподъемно тяжелым, когда надо было переложить его на другую кровать...

Еще одно маленькое открытие сделала Медея, ухаживая за чужими детьми: до четырех лет все они были занятыми, смысленными, острообразительными, а с четырех до семи происходило что-то неуловимо-важное, и в последнее предшкольное лето, когда родители непременно привозили будущего школьника в Крым, как будто Медею для отчета, одни оказывались несомненно и навсегда умницами, другие — глуповатыми.

Из Сандрочкиных детей в умники Медея определила Сережу и Нику, Маша оставалась у нее под вопросом, а из Леночкиных умницей, к тому же и обаятельным, был погибший на фронте Александр. Ни Георгий, ни Наташа, по мнению Медеи, этим качеством не обладали. Впрочем, доброту и хороший характер Медея ценила выше, хотя было у нее высказывание, которое Ника высоко оценила и постоянно цитировала: ум покрывает любой недостаток...

В этот сезон сердце Медеи было особенно обращено к Виталису. Он был самым младшим среди Синопли. По вечерам Медея часто держала Виталиса на руках, прижимая спинкой к своей груди и поглаживая маленькую головенку и вялую шейку. Он любил, когда его гладили: прикосновения, вероятно, отчасти заменяли ему словесное общение.

«Отпущу их в Ялту на субботу и воскресенье», — решила про себя Медея.

...Через несколько дней, после дневного сна, разбивавшего детский день на две неравные половины, прогулочная бригада из трех матерей — Маши, Норы и Алдоны — и четырех детей, совершая мелкие колебательные движения относительно курса, добралась до больнички. Виталиса обычно возили в прогулочной коляске, спиной к дороге и лицом к матери. На этот раз коляску толкали Лиза с Аликом. Медея, увидев их из окошка, вышла на крыльцо.

Лиза, присев на корточки перед Виталисом, разжимала его пальчики, приговаривая: "Сорока-воровка кашу варила, сорока-воровка деток

кормила...

— и, слегка тряся его за мизинец, пищала:

— А этому не дала!"

Он пронзительно кричал, и непонятно было, плачет он или смеется.

— Радует, — со всегдашней неловкой улыбкой объяснила Алдона.

Медея посмотрела в сторону детей, поправила скрученную вокруг головы шаль, еще раз посмотрела на Лизочку и сказала Алдоне:

— Прекрасно, Алдона, что Виталиса привозите. Лизочка у нас капризная, избалованная, а как хорошо она с ним играет. Пусть побольше с ним будет, всем полезно.

Медея вздохнула и сказала не то со старой печалью, не то с усталостью:

— Вот ведь беда какая, все хотят любить красивых и сильных... Ступайте домой, девочки, я скоро приду...

Двинулись в сторону дома. Маша вырвала толстую зеленую травинку со сладким розовым стеблем, пожевала: что имела в виду Медея, говоря о красивых и сильных? Не намек ли на ее ночного гостя? Нет, на Медею не похоже, она не намекает. Либо говорит, либо молчит...

Бутонов приходил к Маше каждую ночь, стучал в окно, втискивал в его узкий проем поочередно свои атлетические плечи, заполнял собой весь объем небольшой комнаты, все Машино тело вместе с душой и уходил на рассвете, оставляя ее каждый раз в остром ощущении новизны всего существа и обновления жизни... Она засыпала сильным коротким сном, в котором все продолжалось его присутствие, просыпалась часа через два и вставала в призрачном состоянии безграничной силы и столь же безграничной слабости. Поднимала детей, варила, гуляла, стирала, все делалось само собой и легко, только стеклянные стаканы бились чаще, чем обычно, да фальшивые серебряные ложки падали беззвучно на земляной пол кухни. Незаконченные строчки появлялись в пузыряристом пространстве, поворачивались боком и уплывали, мелькнув неровным хвостом...

Бутонов же не говорил никаких слов, кроме самых простых: «Поди сюда... подвинься... подожди... дай закурить...» Он даже ни разу не сказал, что придет завтра.

В один из вечеров он пришел к Медее на кухню. Пил чай, разговаривал с Георгием, который со дня на день откладывал отъезд, но наконец собрался.

Маша искала бутоновского взгляда из тесного угла кухни, но воздух неподвижно лежал вокруг его любимого лица, вокруг неподвижных плечей, и никаких знаков близости от него не исходило. Маша приходила в

отчаянье, он ли тот самый, кто приходит к ней по ночам, всплывала мысль о ночном двойнике...

Простившись с Георгием и не сказав ей даже самого незначущего слова, он ушел, но опять пришел ночью, тайно, и все было как прежде, только в минуту, когда они отдыхали на берегу обмелевшей страсти, он сказал:

— Моя первая настоящая любовница была на тебя похожа... Наездница она была...

Маша попросила рассказать про наездницу. Он улыбнулся:

— Да чего рассказывать. Хорошая была наездница. Худая, кривоногая. До нее я думал, до чего же скучное занятие детишек делать. Она исчезла. Хотя я думаю, что ее муж убил.

— Она была красивая? — почти с благоговением спросила Маша.

— Конечно, красивая. — Он положил ладонь на ее лицо, потрогал скулы, узкий книзу подбородок. — У меня, Машка, все женщины красивые. Кроме жены.

Когда он ушел, она еще долго представляла себе то наездницу, то жену, то себя — наездницей...

Прошли еще три огромные, как три жизни, ночи и три призрачных дня, а на четвертый день Бутонов пришел в неурочное время, когда Алдона мыла на кухне послеобеденную посуду, а Маша развешивала у колодца детское белье. Он спустился вниз, молча сел на плоский камень.

— Что? — испугалась Маша и бросила обратно в таз отжатую пижаму.

— Я уезжаю, Маш. Пришел попрощаться, — сказал он спокойно, а она ужаснулась:

— Навсегда?

Он засмеялся.

— Ты больше никогда ко мне не придешь?

— Ну, может, ты ко мне как-нибудь заедешь? В Расторгуево, а? — Он медленно поднялся, отряхнул белые штаны, поцеловал ее в сжатый рот:

— Ты что, расстроилась?

Она молчала. Взглянув на часы, он сказал:

— Ладно, пошли. Пятнадцать минут у меня есть.

Впервые при свете дня вошли они в Самонину комнату, удачно миновав Алдону, пристально теревшую тарелки, и через пятнадцать минут он действительно ушел.

«Как уходят боги... Как будто его никогда и не бывало, — думала Маша, обнимая полосатый половик, проехавший вместе с ней через всю комнату. — Хоть бы Алик скорее приехал...»

Теперь, когда все кончилось так же внезапно, как началось, и у нее осталась только тонкая пачечка грубых серых полулистов, исписанных марающей шариковой ручкой, ей хотелось скорее прочесть Алику свои новые стихи и именно ему рассказать обо всем, что на нее обрушилось.

Алик в это время уже подъезжал к Судаку, а Бутонов, ему навстречу, на старом «Москвиче» Михаила Степановича, ехал в Симферополь, чтобы тем же самолетом, которым прилетел Алик, лететь в Москву вечером.

Медя возвращалась с работы и первой увидела идущего от Нижнего поселка Алика — в синем солнцезащитном козырьке и темных очках на городском незагорелом лице. Немного погодя Алика увидела и Маша, гуляющая с детьми в травяных зарослях Пупка.

С криком «Алька! Алька! Папа!» понеслись они вниз по дороге. Он остановился, сбросил с плеч небольшой туго набитый рюкзак и раскинул руки для общего объятия. Маша подбежала первой, обхватила за шею с самой искренней радостью. Лиза с Аликом прыгали с восторженными воплями.

К тому времени, когда Медя поравнялась с ними, рюкзак был наполовину разворочен, Маша распечатала одно из привезенных для нее писем, Лиза прижимала к себе пакет с тянучками и белесую куколку размером с мышь, подарок Ники, а маленький Алик расковыривал коробку с новой игрой. Старший Алик пытался запихнуть в рюкзак все то, что из него было вытащено.

Алик расцеловался с Медеей и тут же сунул ей в руку картонную коробку, его обычное профессиональное подношение:

— Примите от нашего Красного Креста вашему Красному Кресту...

Там были кое-какие дефицитные лекарства, пара колодок пластыря и обычные резиновые перчатки, которых в прошлом году в Судаке было не достать.

— Спасибо, спасибо, Алик. Рада, что вы наконец приехали...

— Ох, Медя Георгиевна, я вам такую книжку привез, — перебил он ее, — сюрприз! Как вы отлично выглядите!

Он положил руку на макушку сыну:

— Алька, а ты вырос на целую голову, — он сложил пальцы щепоткой, — комариную...

Маша от нетерпения переминалась с ноги на ногу, подскакивала:

— Ну пошли же скорее. Алик, наконец-то!

Медя прошла вперед. "Удивительное дело, Маша действительно рада приезду мужа, не смущена, не выглядит виноватой. Неужели для них супружеская верность ничего не значит? Как будто не приходит к ней

каждую ночь этот рослый спортсмен... А я, старая кочерга, — улыбнулась про себя Медея, — ну что мне за дело? Нет, просто мне Алик очень нравится. Он на Самуила похож, не чертами лица, а живостью, быстротой темных глаз, и такое же беззлобное остроумие... У меня, видимо, склонность к евреям, как бывает склонность к простудам или запорам. Особенно к этому типу кузнечиков, худых, подвижных...

Но все-таки интересно, как Маша будет теперь выбираться из своего романа? — Медея не знала, что Бутонов уже уехал, и с огорчением думала, что опять ей придется видеть чужие ночные дела, свидания, обманы. — Как хорошо, что сама я была совершенно слепа к этой стихии, когда это касалось меня. И тридцать лет прошло уже, слава Богу, с того лета... Там, в заповедях блаженств, забыли все-таки сказать: блаженны идиоты..."

Медея оглянулась: Алик тащил на спине Лизочку, в руке рюкзак и улыбался белыми зубами. На идиота он похож не был.

* * *

Алик-муж, в отличие от Алика-сына, назывался Алик Большой. Большим он не был. Они были одного роста, муж и жена, и, если принять во внимание, что Маша в своей семье была самой мелкой, рост Алика никак не относился к числу его достоинств. Одежду на себя он покупал в «Детском мире», и за тридцать лет у него ни разу не было приличной пары обуви, потому что на его ногу продавали только топорно-тупорылые мальчиковые ботиночки. Но при всей его миниатюрности он был хорошо сложен и красив лицом. Принадлежал он к той породе еврейских мальчиков, которые усваивают грамоту из воздуха и изумляют своих родителей беглым чтением как раз в то время, когда они подумывают, не показать ли ребенку буквы.

В семь лет он читал неотрывно тяжеленные тома «Всемирной истории», в десять увлекся астрономией, потом математикой. Он уже нацелился на высокую науку, ходил в математический кружок при мехмате, и мозги его крутились с такими высокими оборотами, что руководитель кружка только кряхтел, предвидя, как трудно будет юному дарованию пробить процентную норму государственного университета.

Неожиданная смерть любимого отца, последовавшая от нелепой цепи медицинских случайностей, в течение нескольких дней развернула Алика в

другую дорогу. Отец его прошел войну, был трижды ранен и умер от скверно сделанной аппендэктомии. Пока отец умирал от перитонита, Алик сидел возле него в общей палате на двенадцать человек и попутно узнавал кое-что о страдании и сострадании — вещах, не входивших в программу вундеркиндов.

После смерти отца, быстрых его похорон с военным оркестром и воплями обезумевшей матери под гнилым декабрьским дождиком бывшие однополчане и теперешние сослуживцы по болотистой слякоти Востряковского кладбища вернулись в их большую комнату на Мясницкой, выпили там ящик водки и разошлись. В тот же вечер впечатлительный Алик сменил веру, отказавшись от честолюбивых замыслов и от придуманной для себя биографии — гибрида двух любимых его героев Эвариста Галуа и Рене Декарта — в пользу медицины.

Поскольку медаль он получил не золотую, а всего лишь серебряную, поступление в институт представляло собой сражение с пятиглавым драконом.

Единственная пятерка, добытая без боя, была за сочинение — Александр Сергеевич протянул ему дружественную руку. Тема «Ранняя лирика Пушкина» казалась Алику личным подарком небес. Остальные экзамены он сдавал комиссии, по апелляциям, поскольку точно знал, что меньше пятерки получать ему нельзя, а преподаватели так же точно знали, кому их нельзя ставить.

Первую же четверку, по математике, он опротестовал. Членами комиссии были мехматовские наемники, поскольку своей кафедры математики в мединституте не было. Неглупые аспиранты быстро поняли, что мальчик очень сильный. К тому же он проявил необыкновенную выдержку, отвечал четыре часа, и когда, наконец, ему был задан вопрос, на который он не смог ответить, он засмеялся и сказал комиссии, состоящей из пяти человек:

— Вопрос поставлен некорректно, но все-таки я прошу обратить ваше внимание на то, что ни один из заданных мне вопросов не входит в школьную программу. — Он понимал, что терять ему нечего, и пошел ва-банк:

— Я чувствую, что следующим вопросом будет теорема Ферма.

Экзаменаторы переглянулись, и один спросил:

— А вы можете ее сформулировать?

Алик написал простое уравнение, вздохнул:

— При "n" больше двух не имеет целых положительных решений, но доказать это в общем виде я не берусь...

Председатель предметной комиссии с чувством глубокого отвращения к мальчишке, к себе самому и ситуации, в которую все они попали, поставил в ведомость «отлично».

Итоги химии и биологии были те же, но без такого убедительного эффекта.

За английский он получил четверку, но это был последний экзамен, и было ясно, что он набрал проходной балл, и на апелляцию он не подал. Устал.

История его поступления стала институтской легендой, он был героем, и все это напоминало историю Золушки. Его школьные годы были отравлены полной физической несостоятельностью: он был самым маленьким в классе, кстати и по возрасту тоже. Его интеллектуальные достоинства, если и замечались, никак не избавляли его от унижений физкультуры. Да и вообще детство его просто ломилось от унижений: сопровождающая его домработница, завязывающая ему под подбородком цигейковые уши девчачьей шапки, страх перед обратной дорогой, когда сам же настоял, чтобы домработница его больше не провожала, большая перемена как большая неприятность, невозможность зайти в школьную уборную.

Когда его припекало, он шел к врачу, жаловался на головную боль и получал освобождение от занятий, чтобы скорее побежать домой помочиться...

Он остро переживал свое изгойство, смутно догадывался, что оно связано скорее с его достоинствами, чем с недостатками. Отец, редакционный работник «Воениздата», всю жизнь стеснялся своей еврейской второсортности и ничем не мог помочь сыну, кроме прекрасного наставления в чтении. Исаак Аронович был хорошо образованным филологом, но жизнь затолкала его в такой угол, где он с благодарностью редактировал воспоминания полуграмотных маршалов минувшей кампании.

Слияние мужских и женских школ, как ни странно, облегчило Аликову школьную участь. Первые друзья появились у него среди девочек, и уже взрослым мужчиной он постоянно декларировал, что женщины несомненно составляют лучшую часть человечества.

В медицинском институте лучшая часть человечества была также и численно преобладающей. С первых же месяцев учебы вокруг Алика возникла атмосфера почтительного восхищения. Половина однокурсниц были иногородними, с двухлетним медицинским стажем и богатым жизненным опытом, — они толклись в большой комнате на Мясницкой. В

конце года мать Алика получила двухкомнатную квартиру в Новых Черемушках. В этой новой квартире, не обжитой и еще заваленной связками нераспакованных книг, две Аликовы однокурсницы, Верочка Воронова из Сормова и Оля Аникина из Крюкова, ловкие, симпатичные фельдшерицы, лишили Алика романтических иллюзий и одновременно освободили от обременительной девственности. Курса с третьего, когда уже пошли практики и дежурства, эти быстрые и легкие соединения в бельевой, в ординаторской, в смотровой были столь же непринужденны, как и ночные чаепития, и имели оттенок медицинской простоты. Большого значения происходящим на казенном белье соитиям Алик не придавал, гораздо больше его интересовала в те годы наука — естествознание и философия.

Дорога из Новых Черемушек на Пироговку стала для него настоящим Геттингеном. Отправной точкой послужили труды товарища Ленина, предлагаемые к обязательному чтению на первом же курсе по истории КПСС. Затем он ткнулся в Маркса, залез в Гегеля и Канта и обратным ходом дошел до истоков — полюбил Платона. Читал он быстро, каким-то особым образом, змейкой, — одновременно несколько строк составляли читаемую им большую строку. Много лет спустя он объяснял Маше, что все дело в быстродействии воспринимающих структур, и даже рисовал какую-то схему.

Дав волю своим проворным мозгам, он выстроил некую картину человека-вселенной и, в добавление к мединституту, стал ездить в университет, слушал там спецкурсы по биохимии на кафедре Белозерского и по биофизике у Тарусова. Его занимала проблема биологического старения. Он не был безумцем и не гонялся за бессмертием, но по каким-то биологическим параметрам высчитал, что сто пятьдесят лет — нормальный возраст человеческой жизни. Учась на четвертом курсе, он выпустил свою первую научную статью в соавторстве с солидным ученым и еще одним вундеркиндом. Еще через год он пришел к выводу, что клеточный уровень груб, а для работы на молекулярном уровне ему не хватает специальных знаний. В зарубежной научной периодике он добирал недостающее.

Многие годы спустя, занимая исключительно высокое положение в американской науке, Алик говорил, что наиболее интенсивным временем были как раз годы студенчества и что всю жизнь он питается идеями, которые пришли к нему в последний, выпускной, год обучения.

В том же году он познакомился с Машей. Его бывшая одноклассница Люда Линдор, любительница неофициальной поэзии, изредка затаскивала его в квартиры и литературные клубы, где процветал самиздат и сам

Бродский не брезговал иногда читать свои, ставшие со временем нобелевскими, стихи.

В тот раз Люда притащила его на вечер, где читали стихи несколько юных авторов, один даже многообещающий, прежде других севший на иглу и вскоре погибший. Маша читала первая, как юнейшая из юных. Народу было мало, как говорится в таких случаях — «все свои», да еще дежурный стукач, завхоз по совместительству. Время было самое что ни на есть переходное, шестьдесят седьмой год: хлеб не стоил ничего, зато слово, устное и печатное, обрело неслыханный вес. Самиздат уже совершал тайное бурение почвы, Синявский и Даниэль уже были осуждены, «физики» отделились от «лириков», а запретная зона не покрывала разве что зоопарки.

Алик в этот процесс вовлечен не был: теоретические проблемы он всегда предпочитал практическим, философию — политике.

Маша, синеглазая, с тонкими руками, которые жили в воздухе рядом с ее темной стриженной головой независимой и несколько нелепой жизнью, с тихой патетикой читала стихи. Алик все отведенные ей тридцать минут не отрывал от нее глаз, а когда она кончила чтение и вышла в коридор, он шепнул на ухо Люде:

— Я сейчас вернусь...

Но больше он не появился. Он остановил Машу на полпути к уборной:

— Вы меня не узнали?

Маша посмотрела на него со вниманием, но не узнала.

— Это не удивительно. Мы еще не знакомы. Я Алик Шварц. Я хочу вам сделать предложение.

Маша смотрела на него вопросительно.

— Руки и сердца, — объяснил Алик.

Маша счастливо рассмеялась — начиналось то, о чем она так много знала от Ники. Начинался роман. И она была совершенно к этому готова.

— Мария Миллер-Шварц звучит довольно нелепо. Но рассмотрим, — легко ответила она, страшно довольная именно легкостью этого разговора. Торжество прямо-таки накатывало на нее — наконец-то она станет равноправна с Никой и скажет ей по телефону сегодня же вечером: Ничка, ко мне сегодня мужик прикадрился, симпатичный, морда такая хорошая, с легкой небритостью, и с первого взгляда видно — умный...

— Только имейте в виду, — предупредил он, — у меня совершенно нет времени на ухаживание. Но сегодняшний вечер свободен. Пошли отсюда.

Маша собиралась еще вернуться и послушать лысого очкарика, который мял листочки в ожидании своего черед, но тут же раздумала:

— Хорошо, подождите меня, — и пошла в уборную, а он ждал ее возле двери.

Потом они спустились в раздевалку. Маша торопливо одевалась, у нее было такое чувство, что никак нельзя терять времени. Алик, того не зная, уже заразил ее своей внутренней спешкой. Он подал ей тощее элегантное пальто Сандрочкиной работы.

На улице было пусто и темно, зима была самого неприятного свойства — бесснежная и лютая. Маша, по моде досапожных лет, была в легких туфельках, без шапки. Алик взял ее за холодные косточки пальцев:

— Времени у нас всегда будет очень мало, а сказать надо много. Чтобы покончить с неинтересным: в такую погоду неплохо бы валенки и бабушкин платок, это я как врач заявляю. А что касается твоих стихов, — он перешел незаметно на «ты», — частично их надо выбросить, но есть несколько просто прекрасных.

— А какие выбросить? — встрепелась Маша.

— Нет, я лучше скажу, какие сохранить. — И он прочитал ей стихотворение, только что им услышанное, которое он со слуху, в полной точности запомнил:

Как в ссылке, мы в прекрасной преисподней
Бездомной и оставленной земли,
А день осенний светом преисполнен
И холодом пронзительным залит.
Над кладбищем, как облако, висит
Обломок тишины, предвестницы мелодий,
Витающих в обманчивой близости,
Где завтрашнее зреет половодье.
И острые кленовые листья,
Шурша, в безвидном пламени сгорают.
Могилы полыхают, как костры,
Но календарь пока не отменяют...

Я думаю, это очень хорошее стихотворение.

— Памяти моих родителей. Они разбились десять лет тому назад, — сказала Маша, удивляясь, как легко ей говорить ему то, о чем она вообще ни с кем не говорила.

— Жили счастливо и умерли в один день? — серьезно посмотрел на нее Алик.

— Теперь уже ничего другого не остается — только так думать...

Есть браки, скрепляющиеся в постели, есть — распускающиеся на кухне, под мелкую музыку столового ножа и венчика для взбивания белков, встречаются супруги-строители, производящие ремонты, закупающие по случаю дешевые пиломатериалы для дачного участка, гвозди, олифу и стекловату, иные держатся на вдохновенных скандалах.

Брак Маши и Алика совершался в беседах. Девятый год они были вместе, но, встречаясь каждый день по вечерам, после его возвращения с работы, они давали супу простыть, а котлетам сгореть, рассказывая о всем важном, что произошло в течение дня. Жизнь каждым из них проживалась дважды: первый раз непосредственно, второй — в избранном пересказе. Пересказ немного смещал события, выделяя незначительное и внося в происшедшее личную окраску, но и это оба они знали и даже, двигаясь навстречу друг другу, то и предлагали, что должно быть особенно интересно другому.

— А вот для тебя, — помешивая в тарелке горячий суп, говорил Алик, — весь день держал, чтоб не забыть...

Дальше шло описание нелепой утренней ссоры в метро, или дерева во дворе, или разговора с сослуживцем. А Маша тащила на кухню старый том с лапшой закладок или самиздатскую брошюру, разворачивала на нужном месте:

— Я вот тут отметила, ну просто специально для тебя...

В последние годы они отчасти поменялись ролями: раньше он больше читал, глубже зарывался в культурные проблемы, теперь научные занятия не оставляли времени для интеллектуальных развлечений, тем более что он все не мог расстаться со своей прежней работой на «Скорой помощи», которая, кроме того, что была профессионально интересна, оставляла достаточно времени для работы в лаборатории. Маша, сидя дома с сыном, редкостным ребенком, способным занимать себя с утра до вечера содержательной деятельностью, делала статеечки для реферативного журнала, читала множество книг с вниманием и жадностью и писала то стихи, то неопределенные тексты, как будто вырванные из разных авторов. Своего голоса у нее не прорезалось, и влекло ее в разные стороны: то к Розанову, то к Хармсу.

Стихи ее, тоже написанные разными голосами, два раза напечатали в журнальных подборках, но получилось как-то периферийно и незначительно. На странице они выглядели чужими, показались неудачно составленными, да к тому же с двумя опечатками. Но Алик был страшно горд, купил целую кучу экземпляров и всем дарил, а Маша решила про

себя, что пустячных публикаций больше давать не будет, а издаст сразу книгу.

Близость их была столь редкой и полной, выявлялась и в общности вкусов, и в строе речи, и в тональности юмора. С годами у них даже мимика сделалась похожей, и они обещали к старости стать супругами-попугайчиками. Иногда, по глазам угадав не высказанную еще мысль, они цитировали любимого Бродского:

«Так долго вместе прожили, что вновь второе января пришлось на вторник...»

Для их особого родства Маша нашла и особое немецкое слово, разыскала его в каком-то учебнике языкознания, — *Geschwistern*. Ни в одном из известных языков такого слова не было, оно обозначало «брат и сестра», но в немецкой соединенности таился какой-то дополнительный смысл.

Они не давали друг другу обетов верности. Напротив, накануне свадьбы они договорились, что союз их — союз свободных людей, что они никогда не унизятся до ревности, потому что за каждым сохраняется право на независимость. В первый же год брака, испытывая легкое беспокойство из-за того, что Алик был единственным мужчиной в ее жизни, Маша провела несколько сексуальных экспериментов — со своим бывшим однокурсником, с литературным чиновником молодежного журнала, где ее однажды напечатали, и с каким-то совсем уж случайным человеком, — чтобы убедиться, что она ничего не упустила.

Они не обсуждали этого, Маша прочла ему написанное в тот год стихотворение:

Презренна верность:
В ней дыхание долга,
Возможность привлекательных измен.
Одна любовь не терпит перемен,
Себя не вяжет клятвой, кривотолком
И ничего не требует взамен.

Алик догадался о ее опытах, воспринял их как необходимость для Маши и скорее даже от этого выиграл: Маша совершенно успокоилась. Ему тоже за годы их брака подворачивались кое-какие случаи. Он не искал их, но и не отказывался. Но с годами они все сильнее прилеплялись друг к другу и в семейной жизни открывали все больше достоинств. Наблюдая

своих однокашников и друзей, женившихся, разведшихся, пустившихся резво в холостяцкий блуд, он, как неведомый ему фарисей, говорил в душе: у нас — не так, у нас — все правильно и достойно и оттого — счастливо...

Научные дела его шли великолепно. Настолько, что мало кто из его коллег мог оценить получаемые им результаты. Избранничество, в детстве такое обременительное и тяжелое, усугубленное стыдом свалившегося на него с неба столь неудобного еврейства, с годами меняло окраску, но хорошее воспитание и природная доброжелательность прикрывали все крепнущее чувство превосходства над неуклюжими мозгами большинства коллег. Когда в американском престижном научном журнале появилась его первая статья, он просмотрел состав редколлегии на обложке и сказал Маше:

— Здесь четыре нобелевских лауреата...

Маша, глядя в его смуглое, скорее индийское, чем иудейское лицо, поняла, что он примеривает себе эти высокие научные почести. Она, читая его мысли, попросила Нику, которая когда-то занималась керамикой, написать на фарфоровой чашке стихотворение, и Алику в тот год получил в подарок от жены ко дню рождения большую белую чашку, на которой толстыми синими буквами было написано: «И будет так: ты купишь фрак, а я — вечерний туалет, король прослушает доклад, а после даст банкет». Гости восхищались чашкой, но, кроме Алики, намека никто не понял.

Оба они находили большое удовольствие в том, что никакое многолюдство не мешало их бессловесному общению: переглянулись — вот и обменялись мыслями.

Они не виделись около двух недель, и Алику ехал теперь к жене с ошеломляющей новостью. Дело было в том, что в Академию наук приехал знаменитый американский ученый, специалист в молекулярной биологии, — выступить с докладом на конференции и прочитать лекцию. Он сходил в Большой театр, в Третьяковскую, по программе положенную, галерею и попросил переводчицу устроить ему встречу с мистером Шварцем, имя которого он отметил для себя по трем небольшим публикациям все в том же знаменитом журнале.

Переводчица снеслась, проинформировала и получила инструкцию: сообщить приезжему, что мистер Шварц как раз находится в отпуске. Однако мистер Шварц ни в каком отпуске не находился, напротив, пришел на конференцию, чтобы задать американцу некий научный вопрос. Состоялся пятиминутный разговор.

Сметливый американец — недаром дедушка его был родом из Одессы — быстро сориентировался, взял у Алики телефон и поздним вечером

приехал к нему домой, заплатив таксисту Аликову месячную зарплату... Все это происходило в Машино отсутствие, Дебора Львовна, свекровь Маши, отдыхала в санатории. Горы немытой посуды и кучи раскрытых книг окончательно убедили американца, что он имеет дело с гением, и он незамедлительно сделал ему предложение — перейти к нему на работу. Бостон, MIT (Массачусетский технологический институт).

Оставался один технический, но немаловажный вопрос — эмиграция. С этой ошеломляющей новостью и ехал Алик к жене. Оба они были полны нетерпения — рассказать...

Тема эмиграции в интеллигентской среде тех лет была одной из самых острых: быть или не быть, ехать или не ехать, да, но если... нет, а вдруг...

Рушились семьи, рвались дружеские связи. Мотивы политические, экономические, идеологические, нравственные... А сам процесс отъезда был таким сложным и мучительным, занимал иногда долгие годы, требовал решимости, мужества или отчаянья. Официально дыра в железном занавесе была открыта только для евреев, хотя неевреи тоже ею пользовались. Чермное море опять разъяло свои воды, чтобы открыть избранному народу дорожку если не в Землю обетования, то по крайней мере прочь из очередного Египта.

— В Исходе сказано, — восклицал Лева Готлиб, близкий друг Алика, «главный еврей Советского Союза», как Алик его называл, — что Моисей вывел из Египта шестьсот тысяч пеших мужчин. Но нигде не сказано, сколько их осталось в Египте. Оставшиеся просто перестали существовать. А те, которые не уехали из Германии в тридцать третьем, где они?

Но Алика совершенно не интересовала его собственная жизнь с точки зрения национальной, главная ценность заключалась для него в научном творчестве. Разумеется, он слышал все эти разговоры, даже принимал в них участие, внося теоретическую и охлажденную ноту, но занимало-то его на самом деле только клеточное старение. Американское предложение значило для него, что эффективность его работы возрастет.

— ...процентов на триста, я думаю, — прикидывал он, рассказывая обо всем Маше. — Лучшее в мире оборудование, никаких проблем с реактивами, лаборанты, ну и вообще никаких материальных проблем для нас с тобой. Алька будет учиться в Гарварде, а? Я вполне к этому готов. Слово за тобой, Маша.

Ну и мама, конечно, но ее я уговорю...

— А когда? — только и спросила Маша, совершенно не готовая к такому повороту событий.

— В идеальном варианте через полгода. Если мы сразу же подадим

документы. Но может растянуться и надолго. Этого я больше всего и боюсь, потому что с работы мне придется уйти сразу же. Чтоб шефа не подставлять. — Он все уже рассчитал.

«Две недели тому назад такое предложение привело бы меня в восторг, — подумала Маша, — а сегодня я даже думать об этом не могу».

Алик в глубине души надеялся, что Маша обрадуется открывшейся перспективе, и теперешняя ее заминка его озадачила. Он не знал еще, что их домашний мир, разумный и осмысленный, дал трещину от самого презренного низа до самого хрустального верха. И сама Маша не осознала этого в полной мере.

Потом Маша прочитала Алику новые стихи. Он похвалил ее, отметил их новое качество. Принял горячую Машину исповедь об откровении, полученном ею в новых и острых отношениях, об особом виде совершенства, которое она нашла в чуждом человеке, о новом жизненном опыте: как будто со всего мира сняли пленку — с пейзажей, с лиц, с привычных чувств...

— Я не знаю, что мне делать со всем этим, — жаловалась Маша мужу. — Может быть, с точки зрения общепринятой, — (слово «мещанский» совестились произнести, оно было из чужого словаря), — с этой точки зрения ужасно, что именно тебе я это говорю. Но я так тебе доверяю, ты самый близкий, и только с тобой вообще имеет смысл об этом говорить. Мы с тобой едины, насколько это возможно. Но все же, как жить дальше, я не знаю. Ты говоришь — уехать.

Может быть.

Ее немного знобило, лицо горело и зрачки были расширены.

«Как это некстати», — решил Алик и принес из кухни полбутылки коньяку.

Разлил по рюмкам и заключил великодушно:

— Ну что ж, этот опыт был для тебя необходим. Ты поэт, и, в конце концов, не из этого ли материала строится поэзия? Теперь ты знаешь, что есть и более высокие формы верности, чем сексуальная. Мы оба с тобой исследователи, Машенька. У нас только разные области. Сейчас ты совершаешь какое-то свое открытие, и я могу этого не понимать. Но мешать тебе я не буду. — И он налил еще по рюмочке. Коньяк был правильно назначенным медикаментом. Скоро Маша уткнулась ему в плечо и забормотала:

— Алька, ты лучший на земле... лучший из лучших... ты моя крепость... если хочешь, поедem куда хочешь...

И, обнявшись, они утешились. И уверились в своей избранности и

утвердились в превосходстве перед другими их знакомыми семейными парами, у которых возможны всякие мелочные безобразия, беглые случаи в запертой ванной комнате, ничтожная бытовая низость и ложь, а у них, Маши и Алика, — полная откровенность и чистая правда.

Через три дня Алик уехал, оставив Машу при детях, стирке и стихах. Ей предстояло провести в Крыму еще полтора месяца, поскольку необходимые для этого деньги Алик у кого-то одолжил и ей привез.

Через два дня после его отъезда Маша написала первое письмо Бутонову.

За ним второе и третье. В перерывах между письмами она писала еще и короткие отчаянные стихи, которые самой ей очень нравились.

Бутонов тем временем исправно доставал ее письма из почтового ящика, — он оставил Маше расторгувский адрес, потому что летнее время, когда жена с дочкой уезжали в Можинку на академическую дачу Олиной подруги, он обычно проводил в Расторгуеве, а не в хамовнической квартире жены. Соображения семейной конспирации никогда Бутонова не тревожили, Оля была нелюбопытна и не стала бы вскрывать бутоновских писем.

Машины письма вызвали у Бутонова большое удивление. Они были написаны мелким почерком с обратным наклоном, с рисунками на полях, с историями из ее детства, не имеющими ни к чему никакого отношения, со ссылками на неизвестные имена каких-то писателей и содержали множество неясных намеков.

К тому же в конвертах лежали отдельные листочки неровной серой бумаги со стихами. Как догадался Бутонов, это были стихи ее собственного сочинения.

Одно из стихотворений он показал Иванову, который понимал во всем. Тот прочитал вслух, со странным выражением:

Любовь — работа духа.
Все ж тела
В работе этой
Не без соучастья.
Влагаешь руку в руку, -
Что за счастье!
Для градусов духовного тепла
И жара белого телесной страсти -
Одна шкала.

— Откуда, Валерий?

— Девушка мне написала, — пожал плечами Бутонов. — Хорошие?

— Хорошие. Наверное, дернула откуда-нибудь. Не пойму, откуда, — вынес квалифицированное суждение Иванов.

— Исключено, — уверенно возразил Бутонов. — Не станет она чужие переписывать. Точно, сама написала.

Он уже забыл об этом заурядном южном романе, а эта милая девочка придавала ему какое-то слишком уж большое значение. Писем Бутонов ни от кого не получал, сам не писал, да и на этот раз отвечать не собирался, а они все шли. Маша ходила в Судак на почту и страшно огорчалась, что ответа все нет.

Наконец, не выдержав, она позвонила Нике в Москву, попросила ее съездить в Расторгуево и узнать, не случилось ли чего с Бутоновым, почему он не отвечает. Ника раздраженно отказалась: занята по горло, некогда. Маша обиделась:

— Ника, ты что, с ума сошла? Я тебя первый раз в жизни прошу! У тебя романы раз в квартал, а у меня такого никогда не было!

— Черт с тобой! Завтра поеду, — согласилась Ника.

— Ника! Умоляю! Сегодня! Сегодня вечером! — взмолилась Маша.

На следующее утро Маша опять притащилась в Судак с детьми. Гуляли, ходили в кафе, ели мороженое. Дозвониться до Ники не удалось: ее не было дома. Вечером того же дня заболел Алик, поднялась температура, начался кашель — его обычный астматический бронхит, из-за которого Маша и высиживала по два месяца в Крыму. Целую неделю Маша крутилась при нем и только на восьмой день добралась до города. Письма все не было. То есть было — от Алика. До Ники сразу же дозвонилась. Ника отчиталась довольно сухо: в Расторгуево ездила, Бутонова застала, письма он получил, но не ответил.

— А ответит? — глупо спросила Маша.

— Ну откуда я знаю? — обозлилась Ника.

К этому времени она съездила в Расторгуево несколько раз. В первый раз Бутонов удивился. Встреча их была легкой и веселой. Ника и вправду собиралась только выполнить Машино поручение, но так уж получилось, что она осталась ночевать в его большом, наполовину отремонтированном доме. Он начал ремонт два года тому назад, после смерти матери, но как-то дело застопорилось, и отремонтированная половина составляла удивительный контраст с полуразрушенной, куда были сложены деревянные сундуки, топорная крестьянская мебель, оставшаяся еще от бабушки, валялись какие-то домотканые тряпки. Там, в разрушенной

половине, Ника и устроила их скорое гнездышко.

Уже утром, уходя, она действительно спросила у него:

— Чего ты на письма-то не отвечаешь? Девушка огорчается.

Бутонов разоблачений не боялся, но не любил, когда ему делали замечаний:

— Я врач, а не писатель.

— А ты уж напрягись, — посоветовала Ника.

Ситуация показалась Нике забавной: Машка, умница-переумница, влюбилась в такого элементарного пыльщика. Самой Нике он пришелся очень кстати: у нее шел развод, муж ужасно себя вел, чего-то от нее требовал, вплоть до раздела квартиры, ее транзитный любовник закончил в Москве высшие режиссерские курсы и уехал.

— Тебе надо, ты и пиши, — фыркнул Бутонов.

Ника захохотала — предложение показалось ей забавным. А уж как они с Машкой посмеются над всей этой историей, когда у нее схлынет пыль!

* * *

Осенью, к ноябрьским праздникам, Медея вышла на пенсию. На первых порах освободившееся от работы время она предполагала заполнить починкой ватных одеял, с невероятной скоростью ветшающих за летние сезоны. Она заготовила заранее и новый сатин, и целую коробку хороших катушечных ниток, но в первый же вечер, разложивши на столе истрепанное синее в розах одеяло, обнаружила, что цветы уплывают прочь с линялого фона, а им на смену приплывают другие, выпуклые, шевелящиеся.

«Высокая температура», — догадалась Медея и закрыла глаза, чтобы остановить цветочный поток.

К счастью, как раз накануне приехала Ниночка из Тбилиси. Болезнь была как будто та же самая, какую перенесла Медея накануне замужества, когда Самуил ухаживал за ней с таким замиранием в душе, с такой нежностью и любовным трепетом, что впоследствии имел основание говорить: у других людей бывает медовый месяц, а у нас с Медеей была медовая болезнь.

В перерывах между приступами свирепого озноба и глухого полузабытья на Медею опускалось блаженное успокоение: ей казалось, что Самуил в соседней комнате и он сейчас войдет к ней, неловко держа обеими руками стакан и слегка выпучив глаза от боли, потому что стакан

оказался горячее, чем он рассчитывал.

Но вместо Самуила появлялась из полутьмы Ниночка, в аромате зверобоя и тающего меда, с граненым стаканом в худых плоских руках, с глазами матово-черными, глубокими, как у Самуила, и в голову Медее приходила догадка, которой она как будто очень долго ждала и теперь она наконец снизошла на нее как откровение: Ниночка-то их дочь, Самуила и ее, Медеи, их девочка, про которую она всегда знала, но почему-то надолго забыла, а теперь вот вспомнила, какое счастье... Ниночка приподнимала ее от подушки, поила душистым питьем, говорила что-то, но смысл сказанного не совсем доходил до Медеи, словно язык был иностранным.

«Да-да, грузинский, конечно, грузинский», — вспоминала Медея. Но интонация языка была такая богатая, такая ясная, что все понималось из одних движений лица, руки и из вкуса питья тоже. Еще было удивительно, что Ниночка угадывала ее желания и даже занавески раздвигала и задвигала за мгновение до того, как Медея хотела ее об этом попросить...

Тбилисская Медеина родня пошла от двух ее сестер, старшей Анели и младшей Анастасии, которую Анеля вырастила после смерти родителей. От Анастасии остался сын Роберт, неженатый, кажется, слегка тронутый, Медея с ним никогда не общалась. Анеля своих детей не родила, Нина и Тимур были приемными, так что вся тбилисская молодежь была привитой веточкой. Родными племянниками приходились эти дети Анелиному мужу Ладо. Брат Ладо Григол и его жена Сюзанна были нелепой и несчастной парочкой, он — пламенный борец за кустарную справедливость, она — городская сумасшедшая с партийным уклоном. Ладо Александрович, музыкант, профессор Тбилисской консерватории, преподаватель по классу виолончели, не имел с братом ничего общего и не общался с ним с середины двадцатых годов. В первый раз Ладо и Анеля увидели племянников ранним утром в мае тридцать седьмого года — их привезла в дом дальняя родственница после ночного ареста родителей.

Знаменитый закон парности — всего лишь частный случай общего закона повторяемости одного и того же события не то для чеканки характера, не то для свершения судьбы — в Анелиной жизни сработал в идеальной точности.

Прошло десять лет с тех пор, как Анастасия вышла замуж и ушла из дому, и вот судьба привела в их дом сирот, на этот раз двоих.

Анеле было уже за сорок, Ладо был старше на десять лет. Они успели уже подвзнуть и подсохнуть и готовились к мирной старости, а не к участи молодых родителей. Задуманная старость не удалась: только понемногу выправились запущенные дети, началась война. Ладо не пережил тяжелых

времен, умер от воспаления легких в сорок четвертом году. Анеля, проедаая остатки когда-то богатого дома, поставила детей на ноги. Умерла Анеля в пятьдесят седьмом, вскоре после возвращения из ссылки совершенно безумной Сюзанны. Нина, уже молодая женщина, получила взамен любимой мачехи родную мать, одноглазую гарпию, полную злобы и параноидальной преданности вождю. Двадцать лет Нина ходила за ней.

Три-четыре дня, которые Нина собиралась провести у Медеи, обернулись восемью, и, едва поставив Медею на ноги, она уехала в Тбилиси. Болезнь Медеи окончательно не прошла, она бросилась на суставы, и Медея лечила теперь себя домашними способами. В толстых наколенниках из старой шерсти, под которыми были наклеплены капустные листья, или пчелиный воск, или большие пареные луковицы, совершенно утратив обыкновенную легкость движений, Медея кое-как передвигалась по дому, но больше сидела за столом, перестегивая одеяла. При этом она размышляла о Ниночке, о ее безумной матери, о Нике, которая весь сентябрь провела в Тбилиси, приехав туда с театром на гастроли, и сама, судя по Ниночкиным осторожным рассказам, устроила хорошие гастроли из своей поездки...

«Праздномыслие, — останавливала себя Медея и делала то, чему в юности учил ее старый Дионисий: если житейские мысли затягивают тебя, не отпускают, не борись с ними, но думай эту мысль молитвенно, обращая ее к Господу... — Бедная Сюзанна, прости ей, Господи, ужасные и глупые дела, которые она натворила, смягчи ей сердце, дай ей увидеть, как страдает из-за нее Ниночка... и Ниночке помощи, она кроткая и терпеливая, дай ей силы, Господи... Нику сохрани от всякого зла, опасно ходит девочка, такая добрая, яркая, вразуми ее, Господи... помощи...»

И опять она вспоминала Ниночкин рассказ о том, как Ника переполошила семью знаменитого тбилисского актера, завела шумный роман на виду у всего города, сверкала, блистала, хохотала, а бедная актера жена, сжираемая ревностью, носилась ночами по друзьям своего мужа, ломилась в закрытые двери в надежде застать неверного на месте преступления, и застала в конце концов.

И была битая посуда, и прыжки из окна, и вопли, и страсти, и полное неприличие. Самым удивительным для Медеи было то, что еще в октябре она получила от Ники коротенькое письмо, в котором она описывала свою замечательную поездку, большой успех, выпавший театру, и даже похвалилась, что о ее костюмах к спектаклю написали отдельно. «Давно я так не веселилась и не радовалась, — заканчивала она свое письмо. — А в Москве отвратительная погода, тягучий развод с мужем, и все на свете

отдала бы, чтобы жить в каком-нибудь другом месте, посолнечнее».

Относительно погоды Ника была совершенно права: уже с августа закончилось лето и сразу же началась поздняя осень. Деревья не успели как следует пожелтеть, и листья от сильных холодных дождей слетали на землю совсем зелеными. После веселого тбилисского сентября наступил невыносимый московский октябрь. В ноябре погода не исправилась, но настроение стало лучше: навалилось много работы. Ника сдавала очередной спектакль у себя в театре, пропадала в мастерских, где без ее глаза портнихи все делали слишком уж приблизительно, к тому же кончала халтуру в театре «Ромэн». Цыганщина ее соблазняла, но оказалось, что работать в этом театре очень сложно: эта самая цыганская вольница, столь обаятельная на городских площадях, в электричках и на театральных подмостках, оборачивалась полным безобразием: назначенные режиссером встречи происходили с пятого раза, каждая актриса закатывала скандалы, требовала невозможного; и прошло целых полтора месяца, прежде чем Ника с ними расплевалась — после того, как главная исполнительница потребовала от Ники белого кружевного платья, которое уж ни в какие художественные ворота не лезло. Именно в тот день, когда эта немолодая, одна из самых голосистых артисток швырнула Нике в лицо бордово-красный наряд, а Ника столь же ловко отпугнула его обратно, подбив артистическим матом для весу — как подшивали прежде грузинки подолаы легких платьев, — случилась неприятность, которой Ника давно ждала и всячески пыталась избежать.

В двенадцатом часу ночи к ней приехала Маша. Едва открыв дверь, Ника поняла, что неприятность эта произошла. Маша кинулась к ней на грудь:

— Ника, скажи, это не правда? Ведь не правда, скажи!

Ника погладила скользкие от дождя волосы. Молчала.

— Я же знаю, не правда... — твердила Маша, комкая в руках крепдешиновую косынку в косых лиловых, серых и черных клетках. — Зачем она там? Почему?

— Потихе, потихе: ушки на макушке. — Ника сделала предупредительное движение в сторону детской комнаты.

Ника так давно, с самого июля, ждала этой неминуемой бури, что, пожалуй, даже испытала облегчение. Эта дурацкая тягомотина длилась все лето.

Уезжая в мае из Поселка, Ника чистосердечно решила сделать Машке этот тайный подарок — уступить Бутонова. Но не получилось. Все то время, пока Маша выгуливала детей в Крыму, Ника ездила к Бутонову,

решив про себя, что дальше видно будет. Отношения у них образовались изумительно легкие. Бутонова восхищалась в ней чудесная простота, с которой они говорили обо всем на свете, полное отсутствие чувства собственности, и когда он однажды попытался выразить это корявым языком, она его остановила:

— Бутончик, головка у тебя не самое сильное место. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты прав. Дело в том, что у меня мужская психология. Я, как и ты, боюсь влипнуть в длинный роман, в обязательства, в замужество, пропади оно пропадом. Поэтому, имей в виду, я всегда бросаю мужиков первой.

Это было не совсем так, но звучало правдоподобно.

— Ладно, подашь заявление за две недели до ухода, — сострил Бутонов.

— Валера, если ты будешь таким остроумным, я в тебя влюблюсь смертельно, а это опасно. — И Ника засмеялась громко, запрокидывая голову, трясая длинными волосами и грудью. Она смеялась постоянно — в трамвае, за столом, в бассейне, куда однажды ходили, — насмешливый Бутонов поддавался на ее смех, хохот до всхлипов, до боли в животе и потери голоса. Смеялись до изнеможения в постели.

— Ты уникальный любовник, — восхищалась Ника, — обычно от смеха эрекция прекращается.

— Не знаю, не знаю, может, ты меня недостаточно рассмешила...

...Приехавшая в начале июля Маша, сбросив детей Сандрочке, сразу же понеслась в Расторгуево. Ей вдвойне повезло: Бутонова она застала, а Нику — нет, она уехала накануне. Машин приезд совпал с возобновлением заброшенного два года тому назад ремонта. Накануне Бутонов расчистил бабкину половину, в которой лет двадцать не жили, а теперь пришли двое мужиков, нанятых на подмогу. Ника уговорила его не обшивать стены вагонкой, как он хотел, а, наоборот, ободрать до бревен, очистить, заново проконопатить и привести в порядок грубую мебель, тоже оставшуюся после бабки.

— Валер, поверь моему слову, ты сейчас эту мебель на дрова пустишь, а через двадцать лет она будет музейной.

Бутонов удивился, но согласился, и теперь вместе с мужиками обдирал многослойные обои.

— Бутонов! — раздался с улицы женский крик. — Валера!

Он вышел в облаке пыли, в старой докторской шапочке. За калиткой стояла Маша. Он не сразу ее и узнал. Она была в густом крымском загаре, очень привлекательная, и огромная улыбка еле помещалась на узком лице.

Просунув руку в щель между штакетинами, она откинула крючок, и пока он медлительно соображал, как бы ее сейчас сплавить — приход ее был не ко времени, — она уже неслась по кривой дорожке и бросилась, как щенок, ему на грудь, уткнулась в него лицом:

— Ужас! Ужас какой! Я уже думала, что никогда тебя больше не увижу!

От ее макушки шел сильный запах моря. И опять он услышал, как тогда, в Крыму, громкий стук ее сердца.

— Черт-те что! Звучит как в фонендоскопе!

От нее шел жар и свет, как от распаленной спирали мощной лампочки. И Бутонов вспомнил то, что забыл: как она яростно и отчаянно сражалась с ним в маленькой комнате Медеиного дома, — и забыл то, о чем помнил: о ее длинных письмах, со стихами и рассуждениями о вещах не то чтобы непонятных, но ни на что не годных.

Она прижалась ртом к покрытому пылью медицинскому халату и выдохнула горячий воздух. Подняла лицо — улыбки не было, бледна до того, что два перевернутых полумесяца темных веснушек выступили от скул к носу.

— Вот — я...

Если в бабкиной половине было ремонтное разорение, то на чердаке, куда они поднялись, была настоящая свалка. Ни бабка, ни мать никогда ничего из дома не выбрасывали. Дырявые корыта, баки, рухлядь столетнего накопления.

Дом поставил здесь прадед в конце прошлого века, когда Расторгуево было большим селом, и пыль стояла на чердаке действительно вековая. Лечь невозможно. Бутонов посадил Машу на хлипкую этажерку, и она была ну просто как глиняная кошка, только худая; и все произошло сильно и коротко и так, что невозможно было оторваться, и тогда Бутонов перетащил ее на изодранное кресло, и опять его прожгла теснота этого места и сугубая теснота ее детского тела. По отрешенному ее лицу текли слезы, и он слизывал их, и вкус их был вкусом морской воды. О Господи...

Вскоре Машка уехала, и Бутонов опять пошел обдирать обои с мужиками, которые, казалось, и не заметили его отсутствия. Он был пуст, как печная труба, а вернее, как гнилой орех, потому что пустота его была замкнутая и округлая, а не сквозная... ему почудилось, что он отдал больше, чем хотел...

Да, сестрички — он не вникал в тонкости родства — полная противоположность. Одна смеется, другая плачет. Друг друга дополняют.

...Три дня Маша не могла застать Нику дома, хотя названивала не

переставая. От Сандры она знала, что Ника в городе. Наконец дозвонилась:

— Ника! Три дня тебя вызваниваю! Куда ты задевалась?

Маше и в голову не приходило, что Ника ее избегает, готовится к встрече.

— Догадайся с трех раз! — фыркнула Ника.

— Новый роман! — прыснула Маша.

— Пять с плюсом! — оценила Ника Машину догадливость.

— Кто к кому? Лучше я к тебе! Сейчас еду! — горела нетерпением Маша.

— Давай лучше в Успенском, — предложила Ника. — Мать, наверное, за трое суток от них очумела.

Детей как свезли в первый день к Сандрочке, так про них и забыли.

Сандра с Иваном Исаевичем справляли праздник любви к внукам и вовсе не тяготились. Только Иван Исаевич все тянул на дачу, — чего детей в городе томить...

— Нет-нет, — взмолилась Маша, — лучше я к тебе, там не поговорить!

И Ника сдалась: деваться некуда, все равно придется эту исповедь принимать.

С того дня Ника приняла на себя роль доверенного лица. Положение ее было более чем двусмысленное, а сказать, что в этом деле у нее и своя доля, было как будто поздно. Маша, в своей любовной горячке, торопилась рассказать Нике о каждом свидании, и это было для нее чрезвычайно важно. За многие годы она привыкла делиться с мужем самыми незначительными переживаниями, а теперь Алик не мог быть ее собеседником, и она все обрушивала на Нику, вместе со стихами, которые писала постоянно. Расторгуевская осень, шутила Маша.

И прежде знакомая с бессонницей, в эти месяцы Маша спала дырявым заячьим сном, полным звуками, строками, тревожными образами. Во сне приходили какие-то нереальные животные, многоногие, многоглазые, полуптицы-полукошки, с символическими намеками. Одно, страшно знакомое, ластилось к ней, и имя его было ей тоже знакомо, оно состояло из ряда букв и цифр. Проснувшись, она вспомнила странное имя — Ж4836... Засмеялась. Это был номер, отпечатанный жирными черными знаками на полотняных ленточках, которые она пришивала к постельному белью для прачечной. Вся эта чепуха была значительна. Один раз приснилось совершенно законченное стихотворение, которое она в полусне и записала. Наутро с изумлением прочла его:

Сквозь «вы» на «ты»
И далее в пролет
Несуществующих местоимений,
Своею речью твой наполню рот,
Твоим усилиям послужу мишенью,
И в глубине телесной темноты,
В огне ее мгновенного пробоя,
Все рушится, как паводком мосты, -
Границы нет меж мною и тобою.

— Ну просто под диктовку записала, посмотри, ни одной поправки, — показывала она Нике ночную записку.

Извещенная Машей о каждом слове, произнесенном Бутоновым, о каждом его движении, Ника отчасти даже забавлялась тем, что по минутам знает, как провел он вчерашний день.

— Жареной картошки не осталось? — невинно спрашивала она у Бутонова, потому что Маша накануне сказала ей, что чистила картошку и порезала палец.

Бутонов не говорил с Никой о Маше, она тоже не заикалась о ней, и у Бутонова сложилось впечатление, что сестры прекрасно знают о положении вещей и даже поделили дни недели: Маша приезжала по выходным, Ника — по будням.

Но никакого сговора, конечно, не было. Просто по выходным Ника ездила на дачу навещать детей: то Лизу, которая жила у Сандры на даче, то Катю, которая отдыхала на даче у своей другой бабушки. Алик Маленький тоже гостил у Сандры. Алик Большой старался брать дежурства на «Скорой» по выходным, чтобы не терять лабораторного времени, а Маша, предпочитая не врать, а благородно умалчивать, уходила в те дни, когда и Алика не было дома.

Впрочем, он всегда проводил дома мало времени.

Алик был ровен и хорош, лишних вопросов не задавал, и разговоры их вертелись по-прежнему около отъезда. Уже было заказано приглашение из Израиля. И хотя Маша эту тему поддерживала, отъезд казался ей нереальным.

В сентябре, когда Ника уезжала в Тбилиси, Маша просто изнемогала от ее отсутствия, пыталась даже дозвониться в Тбилиси, но в гостинице застать ее было невозможно. Ниночка тоже не смогла сказать ей, где можно найти Нику.

В сентябре Бутонов закончил ремонт, переехал к жене, в Хамовники, но после ремонта расторгуевский дом стал для него притягательным, и он ночевал там два-три раза в неделю. Иногда он заезжал за Машей, и они ехали в Расторгуево вместе на машине. В Расторгуеве они однажды даже ходили за грибами, ничего не нашли, вымокли до белья, а потом сушили вещи у печки, и сгорел один Машин носок. И это тоже было маленьким событием жизни — как и порезанный палец, как ссадина или синяк, полученные Машей в любовных трудах.

То ли дом Бутонова был к ней враждебен, то ли она вызывала Бутонова на некоторую сексуальную грубость, но таких маленьких травм было множество, и этими памятными знаками страсти она даже немного гордилась.

Когда Ника наконец вернулась из Тбилиси, Маша долго рассказывала ей обо всех этих мелочах и в конце между прочим сообщила, что пришло приглашение.

Ника только диву давалась, как у Маши перевернулись мозги, — именно получение приглашения и было важным сообщением. Отъезд обозначал разлуку, может быть, навсегда, а Маша то показывала синяки, то читала стихи. Нике на этот раз тоже было чего порассказать, что она с удовольствием и сделала. Ее действительно увлекал новый роман, и про себя она решила, что это очень подходящий момент, чтобы поставить на Бутонове точку.

Целую неделю она, как Пенелопа, ждала приезда Вахтанга, который должен был приехать на кинопробы, но приезд его все откладывался, и Ника, чтобы не терять формы, заехала к Бутонову. Поскольку Маша постоянно докладывала ей о всех своих передвижениях, труда не составляло выбрать подходящее время.

Бутонов Нике очень обрадовался. Ему хотелось показать ей отремонтированную половину дома — как-никак, Ника была его личным дизайнером. Ему очень нравился ремонт, идея с обнаженными бревнами, но Ника пришла в ужас, увидев, что бревна залили лаком. Велела лак отмыть разбавителем. Передвинула мебель, показала, где и что надо починить, а к чему не прикасаться. Все-таки много лет она прожила в доме с краснодеревщиком, и будучи человеком талантливым, и здесь все быстро схватила. Обещала привезти ему красного стекла, чтобы вставить в буфет вместо утраченного, и сшить занавески в театральной пошивочной... Косынка Никина соскользнула в какой-то момент, притаилась, как змея, между простыней и матрасом, и Ника не нашла ее, хотя наутро долго искала. Косыночка была собственноручная, в косую клеточку, одна из тех,

на которых она осваивала когда-то еще в училище батик...

Когда Маша с порога приступила к ней — правда, не правда? — Ника строго перебила ее и спросила:

— А что сказал Бутонов?

— Что вы с ним давно, еще с Крыма... Не может этого быть, не может. Я сказала ему, что это невозможно...

— А он? — не отставала Ника.

— А он говорит: прими как факт. — Маша все комкала Никину косынку, которая и олицетворяла собой некий факт.

Ника вытянула косынку из ее рук, бросила под зеркало:

— Вот и прими!

— Не могу, не могу! — взвыла Маша.

— Машка, — вдруг обмякла Ника, — ну так уж случилось. Ну что теперь делать, вешаться, что ли? Не будем устраивать трагедии. Прямо какие-то «Опасные связи», черт знает что...

— Ничка, солнышко мое, но как же мне быть! Я должна к этому привыкнуть, что ли? Я сама не понимаю, почему так больно. Когда я эту косынку вытащила, я чуть не умерла. — И снова встрепенулась:

— Нет-нет, невозможно!

— Да почему же невозможно? Почему?

— Не могу объяснить. Вроде так: все могут со всеми, все необязательно, выбор приблизителен и все взаимозаменяемы. Но здесь-то, я знаю, здесь — единственность, перед которой все прочее вообще не имеет смысла.

Единственность...

— Ангел мой, — остановила ее Ника, — каждый случай единствен, поверь моему слову. Бутонов отличный любовник, и это измеряется сантиметрами, минутами, часами, количеством гормонов в крови. Это просто параметры! У него хорошие данные — и все! Алик твой замечательный человек, умный, талантливый, но он тебя просто недо...

— Заткнись! — закричала Маша. — Заткнись! Возьми себе своего Бутонова со всеми его сантиметрами! — И Маша выскочила вон, почему-то схватив с подзеркальника косынку, только что возвращенную Нике.

Ника ее не остановила — пусть перебесится. Если у человека есть идиотские иллюзии, от них надо избавляться. В конце концов, правильно сказал Бутонов: прими как факт. А тут — Ника впервые в жизни с раздражением подумала о Машиных стихах — "Прими и то, что свыше меры, как благодать на благодать.." Вот и прими. Прими жизнь как факт...

"Дорогой Бутонов! Я знаю, что переписка — не твой жанр, что из всех

видов человеческих взаимоотношений для тебя самый существенный — тактильный. И даже профессия твоя такова — в пальцах, в прикосновениях, в тонких движениях. И если в этой плоскости-поверхности пребывать, в прямом и переносном смысле, то все происходящее совершенно правильно. У касаний нет ни лица, ни глаз — одни рецепторы работают. Мне и Ника пыталась то же объяснить: все определяется сантиметрами, минутами, уровнем содержания гормонов. Но ведь это только вопрос веры. На практике оказалось, что я исповедую другую веру, что мне важно еще и выражение лица, внутреннее движение, поворот слова и поворот сердца. А если этого нет, то мы друг для друга только вещи, которыми пользуются. Собственно говоря, меня это больше всего и мучает: разве кроме взаимоотношений тел нет никаких иных? Разве нас с тобой ничего не связывает, кроме объятий до потери мира? Разве там, где теряется ощущение границ тела, не происходит никакого общения превыше телесного?

Это Ника, твоя любовница, моя более чем сестра, говорит мне: есть только сантиметры, минуты, гормоны... Скажи — нет! Ты скажи — нет! Неужели ничего между нами не происходило, что не описывается никакими параметрами?

Но тогда нет ни тебя, ни меня, вообще никого и ничего, а все мы механические игрушки, а не дети Господа Бога. Вот тебе стишок, дорогой Бутонов, и, прошу тебя, скажи «нет».

Играй, кентавр, играй,
Химера двух природ,
Гори, огонь, по линии раздела
Бессмертной человеческой души
И конского невзнузданного тела.
Наследственный удел — искусство перевоза.
Два берега лежат, забывши о родстве,
А ты опять в поток, в беспамятные воды,
В которых я никто, — ни миру, ни тебе.
Маша Миллер".

Прочитав письмо, Бутонов только крикнул. Зная уже Машин характер, он ожидал от нее больших переживаний по поводу открывшейся конкурентки. Но ревности, которая выражалась бы так непросто, так витиевато, он и предположить не мог. Видно, страдает девчонка. И дней

через десять, дав улечься происшествию с косынкой, он позвонил и спросил, не хочет ли она прокатиться в Расторгуево. Маша через паузы, через редкие «да», «нет», — хотя и на телефонном расстоянии чувствовал Бутонов, что она только о том и мечтает, — согласилась.

В Расторгуеве все было по-новому, потому что выпал настоящий снег, и сразу так много, что занесло тропинку от калитки до крыльца, и, чтобы загнать машину, Бутонову пришлось сгребать деревянной лопатой снег в большой сугроб.

В доме было холодно, казалось, что внутри холоднее, чем снаружи.

Бутонов сразу же задал Маше такую хорошую встрепку, что обоим стало жарко.

Она стонала сквозь слезы и все требовала: скажи — нет!

— Какого же тебе «нет», когда «да», «да», «да»... — смеялся Бутонов.

А потом он затопил печку, открыл банку завалявшихся консервов, «Килька в томатном соусе», сам ее и съел. Маша к еде не прикоснулась. Другого ничего в доме не было. В Москву решили не возвращаться, пошли пешком до станции, Маша позвонила по автомату домой и сказала Деборе Львовне, что ночевать не придет, поскольку заехала к друзьям на дачу и не хочет на ночь глядя возвращаться. Свекровь пыхнула гневом:

— Конечно! О муже и ребенке ты не беспокоишься! Если хочешь знать, как это называется...

Маша повесила трубку:

— Все в порядке, предупредила...

По белой дороге они пошли к дому.

В доме Бутонова было прохладно: дом тепла не держал.

«Теперь печка на очереди, в будущем году переложу», — решил Бутонов.

Устроились на кухне, там было все-таки теплее. Стащили матрасы со всего дома. Только согрелись, у Бутонова заболел живот, и он пошел в уборную, во двор. Вернулся, лег. Маша, водя пальчиками по его лицу, стала говорить об одушевленности пола, о личности, которая выражает себя прикосновением...

Рыбные консервы всю ночь гоняли Бутонова во двор, живот крутило, бессонная Маша что-то тренькала нежным голосом с надрывно-вопросительной интонацией.

Надо отдать ему должное, он был вежлив и не просил Машу заткнуться, просто временами, когда немного утихала боль, он проваливался в сон. Утром, когда они уже ехали в город, Бутонов сказал Маше:

— За что я тебе сегодня благодарен, что ты, пока меня понос одолевал, хоть стихов мне не читала...

Маша посмотрела на него с удивлением:

— Валера, а я читала... Я тебе «Поэму без героя» ахматовскую прочла...

С мужем отношения у Маши не разладились, но в последнее время они стали меньше общаться. Полученное приглашение не было подано, поскольку Алик, прежде подачи документов, хотел уволиться с работы, а прежде ухода ему нужно было закончить какую-то серию опытов. Он пропадал в лаборатории допоздна, отказался от дежурств на «Скорой». Время от времени оттаскивал в букинистический рюкзак с книгами: с отцовской библиотекой все равно предстояло расставаться. Он видел, что Маша мечется, нервничает, и относился к ней с нежностью, как к больной.

В декабре Бутонов уехал в Швецию — недели на две, как он сказал, хотя, конечно, отлично знал день возвращения. Любил свободу. Ника почти не заметила его отсутствия. Предстояла очередная сдача детского спектакля к школьным каникулам, к тому же приехал наконец Вахтанг, и все свободное время Ника проводила с ним и его друзьями, московскими грузинами. Гоняла по ресторанам, то в Дом кино, то в ВТО.

Маша затосковала, все пыталась добраться хоть до Ники, чтобы поговорить с ней о Бутонове, но Ника была недосягаема. С другими подругами говорить о Бутонове было неинтересно и даже невозможно.

Бессонница, которая до той поры только точила свои коготки, в декабре одолела Машу. Алик приносил ей снотворное, она кое-как засыпала, но искусственный сон был еще хуже, чем бессонница: навязчивое сновидение начиналось с любого случайного места, но всегда сводилось к одному: она искала Бутонова, догоняла его, а он ускользал, проливался, как вода, прикидывался, как в сказках, разными предметами, растворялся, превращался в дым...

Два раза Маша ездила в Расторгуево, просто для того, чтобы совершить эту поездку от Павелецкого вокзала, доехать в электричке до станции Расторгуево, от станции дойти пешком до его дома, постоять немного у калитки, увидеть заснеженный дом, темные окна и вернуться домой. Все это занимало часа три с половиной, и особенно приятна была дорога туда...

Две недели уже прошло, но он не объявлялся. Маша позвонила ему в Хамовники. Пожилой и усталый женский голос ответил, что он будет часов в десять. Но его не было ни в десять, ни в одиннадцать, а на другое утро тот же голос ответил: позвоните в пятницу.

— А он приехал? — робко спросила Маша.

— Я говорю вам, позвоните в пятницу, — раздраженно ответила женщина.

Был только понедельник.

«Приехал, и не звонит», — огорчилась Маша. Позвонила Нике, спросила, не знает ли она что-нибудь о Бутонове. Но Ника ничего не знала.

Маша опять собралась в Расторгуево, на этот раз ближе к вечеру. Снег перед воротами бутоновского дома был расчищен, ворота закрыты и заперты.

Машина стояла во дворе. В бабкиной половине горел маленький свет. Маша рванула застылую калитку. Тропинка к дому была завалена снегом. Она шла, проваливаясь чуть не до колен. Долго звонила в дверной звонок — никто не открыл.

Хотелось проснуться, настолько это было похоже на один из снов — также ярко, горько, и Бутонов также мелькал каким-то знаком присутствия, вроде его бежевой машины, которая стояла со снежным одеялом на крыше, — не давался в руки Бутонов.

Маша постояла минут сорок и ушла.

«Там Ника», — решила она и поехала домой.

В электричке она думала не о Бутонове, о Нике. Ника была соучастницей ее судьбы с раннего возраста. Их соединяла, помимо всего, еще и физическая приязнь. Никины выпуклые губы в поперечных морщинках, запас на улыбку, складки скрытого смеха в уголках рта, хрустящие рыжие волосы нравились Маше с детства, как Нике — Машина миниатюрность, маленькие ступни, резкость, тонкость во всем облике. Что касается Маши, то она без колебаний предпочла бы Нику самой себе. Ника же никогда о подобных вещах не задумывалась. И Бутонов соединил их каким-то таинственным образом... как Иаков, женившийся на двух сестрах... их можно было бы назвать «сожены», как бывают «собратья».

Иаков входил в их шатры, брал их, их служанок, и это была одна семья... И что такое ревность, как не вид жадности... нельзя владеть другим человеком... пусть так — все были бы братья и сестры, мужья и жены... и сама же улыбнулась: великий бордель Чернышевского, какой-то там сон Веры Павловны. Ничего единственного, ничего уникального, ничего личного. Все скучно и бездарно. Свободны мы или нет? Откуда это чувство стыда и неприличия? Пока доехала до Москвы, написала Нике стихотворение:

Вот место между деревом и тенью,

Вот место между жаждой и глотком,
Над пропастью висит стихотворенье,
По мостику висячему пройдем.
Потемки сна и коридоры детства
Трофейным освещаю фонарем,
И от признаний никуда не деться:
Не убиваем, ложек не крадем,
Не валенками шлепаем по лужам,
Не песенки запретные поем,
Но, ощущая суеверный ужас,
Мы делаем ужасное вдвоем...

До дома добралась около двенадцати, Алик ждал на кухне с бутылкой хорошего грузинского вина. Он закончил сегодня эксперименты и мог бы уже завтра подать заявление об уходе. Только тут Маша окончательно поняла, что скоро она уедет навсегда.

«Отлично, отлично, кончится вся эта позорнейшая тягомотина», — подумала Маша. Они провели с Аликом длинный вечер, затянувшийся почти до четырех утра. Разговаривали, строили планы, а потом Маша заснула без сновидений, взяв Алика за руку.

Проснулась она поздно. Деборы Львовны уже несколько дней не было: в последние дни она много времени проводила у больной сестры. Алики уже позавтракали, играли в шахматы. Картина была самая мирная, даже с кошкой на диванной подушке.

«Как хорошо, кажется, я начинаю выздоравливать», — думала Маша, крутя тугую ручку кофейной мельницы. Потом взяли санки и пошли втроем на горку.

Вывалялись в снегу, взмокли, были счастливы.

— А в Бостоне снег бывает? — спросила Маша.

— Такого не бывает. Но мы будем в штат Юта ездить на горных лыжах кататься, будет не хуже, — пообещал Алик. А все, что он обещал, он всегда выполнял.

...Бутонов позвонил в тот же день:

— Ты не соскучилась?

Накануне он видел топтавшуюся у калитки Машу, но не открыл ей, потому что в гостях была дама, милая толстуха переводчица, с которой они были вместе в поездке. Две недели они поглядывали друг на друга выразительно, но все случая не представлялось. Мягкая и ленивая

женщина, очень похожая, как он теперь понял, на его жену Ольгу, сонной кошкой ворочалась в бутоновских объятиях под треньканье Машкиных звонков, и Бутонов почувствовал острое раздражение против переводчицы, Машки и себя самого. Ему нужна была Машка, острая, резкая: со слезами и стонами, а не эта толстуха. Он звонил Маше с утра, но сначала телефон не отвечал: он был отключен, — потом два раза подходил Алик, и Бутонов вешал трубку и только под вечер дозвонился.

— Пожалуйста, больше не звони, — попросила Маша.

— Когда? Когда приедешь? Не тяни, — не расслышал Бутонов.

— Нет, я не приеду. И не звони мне больше, Валера. — Уже тягучим, плаксивым голосом:

— Я не могу больше.

— Машка, я соскучился ужасно. Ты что, сбрендила? Обиделась? Это недоразумение, Маш. Я через двадцать пять минут буду у твоего дома. Выходи, — и повесил трубку.

Маша заметалась. Она так хорошо, так прочно решила больше с ним не видаться, испытала если не освобождение, то облегчение, и сегодняшний день был такой хороший, с горкой, с солнцем... «Не пойду», — решила Маша.

Но через тридцать пять минут накинула куртку, крикнула Алику:

— Буду через десять минут! — И понеслась вниз по лестнице, даже лифта не вызвав.

Бутоновская машина стояла у порога. Она рванула ручку, села рядом:

— Я должна тебе сказать...

Он сгреб ее, сунул руки под куртку:

— Обязательно поговорим, малыш.

Тронул машину.

— Нет-нет, я не поеду. Я вышла сказать, что я никуда не поеду.

— Да мы уже поехали, — засмеялся Бутонов.

В этот раз Алик обиделся.

— Чистое свинство! Неужели сама не понимаешь? — отчитывал он ее поздно вечером, когда она вернулась. — Человек уходит на десять минут, а приходит через пять часов! Ну что я должен думать? Попала под машину? Убили?

— Ну прости, ради Бога, ты прав, свинство. — Маша чувствовала себя глубоко виноватой и глубоко счастливой.

А потом Бутонов исчез на месяц, и Маша всеми силами старалась принять его исчезновение «как факт», и этот факт прожигал ее до печенок. Она почти ничего не ела, пила сладкий чай и вела нескончаемый

внутренний монолог, обращенный к Бутонову. Бессонница приобретала все более острую форму.

Алик встревожился: нервное расстройство было очевидно. Он стал давать Маше транквилизаторы, увеличил дозировку снотворного. От психотропных препаратов Маша отказалась:

— Я не сумасшедшая, Алик, я идиотка, и это не лечится...

Алик не настаивал. Он считал, что это еще одна причина, почему надо торопиться с отъездом.

Дважды приезжала Ника. Маша говорила только о Бутонове. Ника его ругала, сама каялась и клялась, что видела его в последний раз в декабре, еще перед его поездкой в Швецию. Еще говорила, что он пустой человек и вся эта история только тем и ценна, что Маша написала столько замечательных стихов. Маша послушно читала стихи и думала, неужели Ника ее обманывает и это она была у Бутонова, когда Маша звонила под дверью...

Алик гонял по всякого рода канцеляриям. Собрал целую кучу документов.

Он спешил не только из-за Маши, в Бостон гнала его и работа, в отсутствие которой он тоже как бы заболел. Способ выезда был непростой: сначала в Вену, по еврейскому каналу, а оттуда уже в Америку. Не исключено было, что между Веной и Америкой вклинится еще и Рим, — это зависело от скорости прохождения документов уже через зарубежных чиновников.

Ко всем сложностям отъезда неожиданно прибавился еще и бунт Деборы Львовны: никуда не поеду, у меня больная сестра, единственный близкий человек, я ее никогда не оставляю... Дальше шел канонический текст «идише маме»: я всю жизнь на тебя положила, а ты, неблагодарный... этот проклятый Израиль, от него у нас всю жизнь неприятности... эта проклятая Америка, чтоб она провалилась...

Перед подобными аргументами Алик замолкал, брал мать за плечи:

— Мамочка моя! Ты умеешь играть в теннис? А на коньках кататься? Есть что-то на свете, чего ты не умеешь? Может быть, ты чего-то не знаешь?

Какой-нибудь малости? Помолчи, умоляю тебя. Никто тебя не бросает, мы едем вместе, а Фиру твою мы будем содержать из Америки. Я буду там зарабатывать много денег...

Дебора Львовна затихала на минутку, а потом вспенивалась новой страстью:

— Что мне твои деньги? Мне плевать на твои деньги! Мы с папой

всегда плевали на деньги! Вы погубите ребенка своими деньгами!

Алик хватался за голову, уходил в комнату.

Когда все документы были собраны, Дебора Львовна категорически отказалась ехать, но разрешение на отъезд дала. Документы наконец подали, и снова объявился Бутонов. Он звонил из Расторгуева, по автомату, просил приехать. Дело было утром, Маша собрала Алика, отвезла его к Сандре, поехала в Расторгуево — прощаться.

Прощанье удалось. Маша сказала Бутонову, что приехала в последний раз, что скоро уезжает навсегда и ей хочется увезти с собой в памяти все до последней черты. Бутонов заволновался:

— Навсегда? Вообще-то правильно, жизнь у нас хреновая по сравнению с западной, я повидал. Но навсегда...

Маша прошла по дому, запоминая его, потому что дом ей тоже хотелось увезти в памяти. Потом они вместе с Бутоновым поднялись на чердак. Здесь было по-прежнему пыльно и захламленно. Бутонов споткнулся о выбитое сиденье венского стула, поднял его:

— Маша, посмотри.

Центр сиденья был весь пробит насквозь ножевыми ударами, вокруг лежали метки неточных попаданий. Он подвесил сиденье на гвоздь.

— Это главное занятие моего детства.

Он вынул нож, отошел на другой конец чердака и метнул. Лезвие воткнулось в стену в самой середине круга, в старой пробоине...

Маша вытащила нож из стены, подошла к Бутонову. Ему показалось, что она тоже хочет метнуть нож в цель, но она только взвесила его на руке и отдала ему:

— Теперь я знаю про тебя все...

После этой поездки Маша начала тихие сборы в эмиграцию. Вытащила все бумаги из ящиков письменного стола, разбираала, что выбросить, что сохранить.

Таможенники не пропускали рукописей, но у Алика был знакомый в посольстве, и он обещал отправить Машины бумаги по дипломатическим каналам. Она сидела на полу в ворохе бумаги, перечитывала каждую страницу, над каждой задумывалась, грустила. Вдруг оказалось, что все написанное лишь черновик к тому, что ей хотелось бы написать теперь.

— Соберу сборник, назову его «Бессонница».

Стихи выходили на нее, как звери из лесу, совершенно готовыми, но всегда с каким-то изъяном, с хромотой в задней ноге, в последней строфе...

Есть ясновиденье ночное,

Когда детали прячет тьма,
Из всех полосок на обоях
Лишь белая одна видна.
Мой груз дневной растаять хочет,
Заботы, мелочь, мельтешня,
Восходит гениальность ночи
Над неталантливостью дня.
Я полюбила даль бессонниц,
Их просветленный горизонт.
На дне остаток нежной соли,
И все недостижимей сон...

Маша сильно похудела, утончилась еще более, и утончился тот дневной мир, который, в отличие от ночного, казался ей неталантливым. Появился ангел. Она не видела его воочию, но ощущала его теплое присутствие и иногда резко оборачивалась, потому что ей казалось, что очень быстрым взглядом его можно уловить.

Когда он приходил во сне, черты его были яснее, и та часть сна, в которой он являлся, была как вставка цветного куса в черно-белом фильме. Он выглядел всегда немного по-разному, умел принимать человеческое обличье, однажды явился к ней в виде учителя, в белой одежде наподобие костюма фехтовальщика, и стал учить ее летать. Они стояли на склоне живой, слегка дышащей горы, тоже принимающей свое неопределенное участие в этом уроке.

Учитель указал ей на какую-то область позвоночника, ниже уровня плеч и глубже, где таился маленький орган или мышца, и Маша почувствовала, что полетит, как только обучится легкому и точному движению, управляющему этим органом. Она сосредоточилась и как будто включила кнопку — тело ее стало очень медленно отрываться от горы, и гора немного помогала ей в этом движении. И Маша полетела тяжело, медленно, но было уже совершенно ясно, что надо делать, чтобы управлять скоростью и направлением полета, куда угодно и бесконечно. Она подняла голову — выше ее летали люди точным и сильным полетом, и она поняла, что тоже может летать так свободно и быстро. Тогда она медленно опустилась, так и не испробовав всей полноты наслаждения.

Этот полет не имел ничего общего с птичьим, никаких взмахов, никакой аэродинамики — одно усилие духа...

В другой раз ангел учил ее приемам особой словесно-мысленной

борьбы, какой не бывает в здешнем мире. Как будто слово было в руке, и оно было оружием, он вложил его ей в руку, гладкое, удобное в ладони, и повернул кисть, и смысл сверкнул острым лучом. И тут же немедленно появились два противника: один справа и выше, второй слева и чуть ниже, как будто все происходило на скошенном склоне горы. Оба были опасные и опытные враги, умелые в искусстве боя. Один сверкнул в нее — и она ответила. Второй, с небольшого расстояния, нанес быстрый удар, и каким-то чудом ей удалось его отразить. В этих нападениях был острый диалог, непереводаемый, но совершенно ясный по смыслу. Оба они подсмеивались над ней, указывали на ее ничтожество и полную несоразмерность с их мастерским классом. Но она, изумляясь все более, отражала каждый удар и с каждым новым движением обнаруживала, что оружие в ее руках делается все умнее и точнее и борьба эта действительно более всего напоминает фехтование. Тот, что был справа, был злей и насмешливей, но он отступал. Отступил и второй... их не стало. Это значило, что она победила.

И тогда она со слезами, с открытым рыданием кинулась на грудь к учителю — и он сказал ей:

— Не бойся. Ты видишь, никто не может причинить нам вреда...

И Маша заплакала еще сильнее от ужасающей слабости, которая и была ее собственной, потому что вся умная сила, которой она их победила, была не ее собственная, а заемная, от него...

Нечеловеческую свободу и неземное счастье Маша испытывала от этого нового опыта, от областей и пространств, которые открывал ей ангел, но, при всей новизне и невообразимости происходящего, она догадывалась, что запредельное счастье, переживаемое ею в близости с Бутоновым, происходит из того же корня, той же породы.

Ей хотелось спросить об этом ангела, но он не давал ей задать вопрос: когда он появлялся, она подчинялась его воле с наслаждением и старанием.

Но зато, когда он исчезал, иногда на несколько дней, становилось очень плохо, как будто счастье его присутствия надо было непременно оплачивать душевным мраком, темной пустотой и тоскливыми монологами, обращенными к почти не существующему Бутонову.

Фаворский свет нам вынести едва ли,
Но во сто крат трудней
Пустого диска темное сиянье
Всех следующих дней.

Маша колебалась, рассказывать ли об этом Алику. Она боялась, что он, с его рационализмом, станет оценивать ее сообщение не с точки зрения мистической, а с точки зрения медицинской. Но в ее случае между мистикой и медициной пролегалo поле поэзии, на котором она была хозяйкой. Отсюда она и начала. Поздним вечером, когда весь дом уже спал, она стала читать ему последние стихи:

Я подглядела, мой хранитель,
Как ты присматривал за мной.
К обломку теплого гранита
Я прижималась головой,
Когда из Фрейдových угодий,
Из темноты, из гущи сна,
Как сор на берег в половодье,
Волна меня в мой дом внесла,
И, как в бетоне и в металле
Гнездятся пузыри пустот,
В углу протяжно и овально
Крыла круглился поворот.
Мне кажется, мой ангел плакал,
Прикрыв глаза свои рукой,
Над близости условным знаком,
И надо мной, и над тобой.

— Я думаю, Маша, это очень, очень хорошие стихи. — Алик был искренне восхищен, в отличие от тех случаев, когда выражение одобрения считал почти семейной обязанностью.

— Это правда, Алик. То есть стихи, да, это не метафора и не воображение. Это действительное присутствие...

— Ну, разумеется, Маша, иначе вообще ни о каком творчестве и речи быть не может. Это метафизическое пространство... — начал он, но она его перебила:

— Ах нет! Он приходит ко мне, как ты... Он научил меня летать и многому другому, что нельзя пересказать, нельзя выразить словами. Ну вот, послушай:

Взгляни, как чайке труден лет, -
Ее несовершенны крылья,

Как напряженно шею гнет,
Как унизительны усилья
Себя в волну не уронить,
Срывая с пены крохи пищи...
Но как вместить, что каждый нищий
Получит очи, и чело, и оперенное крыло
Взамен лохмотьев и медяшек
И в горнем воздухе заплещет
Без репетиций, набело...

Такое простенькое стихотворение, и как будто из него и не следует, что я летала, что я действительно там была, где полет естествен, как... как все...

— Ты хочешь сказать, галлюцинации, — встревожился Алик.

— Ах нет, какие галлюцинации! Как ты, как стол... реальность. Но немного иная. Объяснить не берусь. Я как Пуська, — она погладила кошку, — все знаю, все понимаю, но сказать не могу. Только она не страдает, а я страдаю.

— Маша, но я должен тебе сказать, что у тебя все получается. Отлично получается. — Он говорил мягко и спокойно, но был в крайнем замешательстве: шизофрения, маниакально-депрессивный психоз?

«Завтра позвоню Летневскому, пусть разберется». Летневский, врач-психиатр, был приятелем его однокурсника, а в те времена еще не распалось цеховое содружество врачей, наследие лучших времен и лучших традиций...

А Маша все читала, уже не могла остановиться:

Когда меня переведет
Мой переводчик шестикрылый
И облекутся полной силой
Мои случайные слова,
Скажу я: отпускаешь ныне
Меня, в цвету моей гордыни,
В одежде радужной грехов,
В небесный дом, под отчий кров.

...Бутонов Машу все не отпускал. Трижды ездила к нему в

Расторгуево, и каждая встреча была прощальной, последней. Казалось, что взятая нота была так высока, что выше уже не подняться — сорвется голос, все сорвется...

Только теперь, когда каждая встреча была как последняя, Бутонов признался себе, что Маша настолько затмила свой прообраз, полузабытую Розку, что он не мог даже вспомнить лица исчезнувшей наездницы, и уже не Маша казалась ему подобием Розки, а, наоборот, та мелькнувшая любовь была обещанием теперешней, и неминуемый отъезд усиливал страсти.

Тех двух-трех женщин, которые одновременно и необязательно присутствовали в его жизни, он забросил. Одна, даже несколько нужная по делу, секретарша из Спорткомитета, дала ему понять, что обижена его пренебрежением, вторая, клиентка, молодая балерина, для которой он делал исключение, поскольку массажный стол считал рабочей поверхностью, а не станком для удовольствий, отпала сама собой, переехав в Ригу. Нику он действительно не видел с декабря, перезванивались несколько раз, выражали вежливое желание встретиться, но оба и шагу не делали.

У Бутонова назревал очередной профессиональный кризис. Ему надоела спортивная медицина, однообразные травмы, с которыми он постоянно имел дело, и жестокие интриги, связанные с выездами за рубеж. Подоспело интересное предложение: при Четвертом управлении организовывали реабилитационный центр и Бутонов был одним из претендентов на заведование. Это сулило разные интересные возможности. Жена Оля, достигшая к тридцати пяти годам профессионального потолка, как это бывает у математиков, подталкивала Валерия: новое дело, современное оборудование, нельзя же всю жизнь по одним и тем же точкам пальцами двигать... Иванов, высохший и желтый, все более походивший с годами на буддийского монаха, предостерегал: не по твоему уму, не по твоему характеру... В этом замечании присутствовало одновременно и уважительное признание, и тонкое пренебрежение.

Бутонов, высоко ценивший Нику, особенно после ее столь удачного вмешательства в ремонт, решил с ней посоветоваться. Встретил ее возле театра, пошли в паршивенький ресторанишко на Таганской площади, удобный своим расположением, на перекрещении их маршрутов. Выглядела Ника отлично, хотя все в ней было немного чересчур: длинная шуба, короткая юбка, большие кольца и пушистая грива. Просто и весело болтали о том о сем, смеялись.

Бутонов рассказал ей о своей проблеме, она неожиданно подобралась,

нахмурилась, сказала резко:

— Валера, знаешь, в нашей семье есть одна хорошая традиция — держаться подальше от властей. У меня был один близкий родственник, еврей-дантист, у него была чудесная шутка: душой я так люблю советскую власть, а вот тело мое ее не принимает. А ты на этой работе будешь все время это тело тискать... — Ника выругалась предпоследними словами, легко и высокохудожественно.

У Бутонова на сердце сразу полегчало, своим веселым матом Ника решила его вопрос, Четвертое управление он отменил. О чем он и сообщил ей тут же, с благодарностью. Их дружеское расположение достигло такого градуса, что, покончив с шашлыками, они сели в бежевый «Москвич» и Бутонов, не задавая лишних вопросов, развернулся на Таганской площади и взял курс на Расторгуево.

...Маша маялась самым нестерпимым видом бессонницы, когда все снотворные уже приняты и спят руки, ноги, спина, спит все, кроме небольшого очага в голове, который посылает один и тот же сигнал: не могу уснуть, не могу уснуть, не могу уснуть... Она выскользнула из постели, где, подтянув колени к подбородку, спал Алик Большой, такой маленький в этой детской позе, пошла на кухню, выкурила сигарету, подставила руки под холодную воду, умылась и прилегла в кухне на кушетке. Закрыла глаза, и опять: не могу уснуть, не могу уснуть...

Он стоял в дверном проеме, всегдашний ангел, в темно-красном, мрачном, лицо его было неясным, как будто в маске, но глаза сияли, как из прорезей, густым синим. Маша отметила, что проем был ложным: настоящая дверь была правее. Он протянул к ней руки, положил ей на уши, даже прижал немного.

«Сейчас научит ясновиденью», — догадалась она и поняла, что надо снять халат. Осталась в длинной ночной рубашке. Он оказался позади нее и зажал руками уши и глаза, а пальцами стал водить поперек лба, доходя до самой переносицы. Тонкие цветочные волны приплывали и уплывали, радуга, растянутая на множество оттенков. Он ждал, что она остановит его, и она сказала:

— Хватит.

Пальцы замерли. В полосе бледно-желтого, с неприятным зеленым оттенком, цвета она увидела двоих — мужчину и женщину. Очень молодых и стройных. Они приближались, как в бинокле, до тех пор, пока она не узнала их — это были родители. Они держались за руки, были заняты друг другом, на маме было голубое в синюю полоску знакомое платье. И лет ей было меньше, чем самой Маше. Жаль, что они ее не видели.

«Этого нельзя», — поняла Маша и закрыла глаза. Он снова стал гладить ее поперек лба и нажал на какую-то точку. «Бутоновская наука, точечная», — подумала Маша. Она остановила полосу желтого цвета — и увидела расторгуевский дом, закрытую калитку, возле калитки себя. И машина за воротами, и маленький свет в бабкиной половине. Она прошла через калитку, не открывая ее, подошла к светящемуся окну, а вернее, окно приблизилось к ней, и, легко поднявшись в воздух, пролетела внутрь, сделав легкий нырок.

Они ее не увидели, хотя она была совсем рядом. Длинной запрокинутой Никиной шеи она могла бы коснуться рукой. Ника улыбалась, даже, пожалуй, смеялась, но звук был выключен. Маша провела пальцем по бутоновской лоснистой груди, он не заметил. Но губа его дрогнула, поплыла, и передние зубы, из которых один был поставлен чуть-чуть вкривь, открылись...

— ...Развернись, пожалуйста, и давай обратно, — тихо сказала Ника Бутонову, разглядев за окнами Рязанское шоссе.

— Ты так думаешь? — слегка удивился Бутонов, но спорить не стал, включил поворотник, развернулся.

Остановился он на Усачевке. Они сердечно простились, с хорошим живым поцелуем, и Бутонов несколько не обиделся — нет так нет. В таких делах никто никому не должен. Был непоздний вечер, шел редкий снег, Катя с Лизой ждали мать и спать не ложились.

«Бог с ним, с Расторгуевым», — подумала Ника и легко взбежала по лестнице на третий этаж.

...Маша стояла в коридоре между кухней и комнатой на ледяном сквозняке, и вдруг ей открылось — как молнией озарило, — что она уже стояла однажды, точно так, в рубашке, в этом самом леденящем потоке... дверь позади нее сейчас откроется, и что-то ужасное за дверью... Она провела пальцами поперек лба, до переносицы, потерла середину лба: подожди, остановись...

Но ужас за дверью нарастал, она заставила себя оглянуться — фальшивая дверь тихо двинулась...

Маша вбежала в комнату, толкнула балконную дверь — она распахнулась без скрипа. Холод, дохнувший снаружи, был праздничным и свежим, а тот, леденящий, душный, был за спиной.

Маша вышла на балкон — снегопад был мягким, и в нем была тысячеголосая музыка, как будто каждая снежинка несла свой отдельный звук, и эта минута тоже была ей знакома. Она обернулась — за дверью комнаты было что-то ужасное, и оно приближалось.

— Ах, знаю, знаю. — Маша встала на картонную коробку из-под телевизора, с нее на длинный цветочный ящик, укрепленный на бортике балкона, и сделала то внутреннее движение, которое поднимает в воздух...

Подтянув к животу колени, спал ее муж Алик, в соседней комнате точно в такой же позе спал ее сын. Было начало весеннего равноденствия, светлый небесный праздник.

* * *

Телеграмму Медея получила через сутки. Почтальонша Клава доставила ее рано утром. Телеграммы посылали по трем поводам: дня рождения Медеи, приезда родственников и смерти. С телеграммой в руке Медея пошла к себе в комнату и села в кресло, которое стояло теперь на том месте, где прежде стояла она сама, — против икон. Она довольно долго просидела там, шевеля губами, потом встала, вымыла чашку и собралась в дорогу. От осенней болезни осталась неприятная тугота в левом колене, но она уже привыкла к ней и двигалась чуть медленнее, чем обыкновенно. Потом она заперла дом и отнесла ключ к Кравчукам. Автобусная остановка была рядом. Маршрут был тот, которым обычно ездили ее гости, — от Поселка до Судака, от Судака до симферопольской автостанции, оттуда до аэровокзала. Она успела на последний рейс и поздно вечером позвонила в дверь Сандрочкиного дома в Успенском переулке, где прежде никогда не была.

Ей открыла дверь сестра. Они не виделись с пятьдесят второго — двадцать пять лет. Кинулись друг другу в объятья, обливаясь слезами. Лида и Вера только что ушли. Распухшая от слез Ника вышла в прихожую, повисла на Медее.

Иван Исаевич пошел ставить чайник — он догадался, что приехала из Крыма старшая сестра его жены. Медея сняла с головы по-деревенски накинутый пуховый платок, под ним была черная головная повязка, и Иван Исаевич изумился ее иконописному лицу. В сестрах он нашел большое сходство.

Медея села за стол, обвела глазами незнакомый дом и одобрила его: здесь было хорошо.

Машина смерть, великое горе, принесла Александре Георгиевне и нечаянную радость, и она сидела за столом рядом с сестрой и недоумевала, как может один человек вмещать в себя столь различное. Медея же, сидя по левую от нее руку, никак не могла осознать, почему это получилось, что она

не видела самого дорогого ей человека четверть века, — и ужасалась этому. Ни причин, ни объяснений не было.

— Это болезнь, Медея, тяжелая болезнь, и никто ничего не понял. Аликов друг, врач-психиатр, оказывается, смотрел ее неделю назад. Сказал, надо срочно госпитализировать: маниакально-депрессивный психоз в острой форме.

Прописал лекарство... Но понимаешь, они ждали разрешения со дня на день...

Вот так. Но я-то видела, что она не в порядке. За руку ее не держала, как тогда... Никогда себе этого не прощу... — приговаривала себя Александра.

— Перестань, ради Бога, мама! Вот уж этого на себя не бери. Вот уж это точно мое... Медея, Медея, как мне с этим жить? Поверить невозможно... — плакала Ника, но губы ее, самой природой предназначенные к смеху, как будто все улыбались.

Похороны состоялись не на третий день, как обыкновенно принято, а на пятый. Делали экспертизу. В судебно-медицинский морг где-то в районе Фрунзенской Алик приехал с двумя друзьями и Георгием. Ника была уже там. Она обернула стриженую Машину голову и шею, на которой был виден грубый прозекторский шов, куском белого крепдешина и завязала его плоским узлом на виске, как это делала Медея. Лицо Маши было нетронутым, бледно-восковым, и красота его ненарушенной.

Священник на Преображенке, к которому Маша ездила изредка последние годы, очень о ней горевал, но отпевать отказался. Самоубийца.

Медея попросила проводить ее в греческую церковь. Самой греческой из московских церквей было Антиохийское подворье. Там, в храме Федора Стратилата, она спросила настоятеля, но служащая женщина учинила ей допрос, и пока она, поджав губы и опустив глаза, объясняла ей, что она понтийская гречанка и много лет не была в греческой церкви, подошел старик-иеромонах и сказал по-гречески:

— Гречанку вижу издалека... Как зовут?

— Медея Синопли.

— Синопли... Брат твой монах? — быстро спросил он.

— Один мой брат ушел в монастырь в двадцатых годах, в Болгарии.

Ничего о нем не знаю.

— Агафон?

— Афанасий...

— Велик Господь! — воскликнул иеромонах. — Он старец на Афоне.

— Слава Тебе, Господи, — поклонилась Медея.

Они понимали друг друга не без затруднений. Старик оказался не греком, а сирийцем. Греческий язык его и Медеин резко различались. Более часу разговаривали они, сидя на лавке возле свечного ящика. Он велел привозить девочку и обещал сам совершить отпевание...

Когда автобус с гробом подъехал к церкви, уже собралась толпа. Семья Синопли была представлена всеми своими ветвями — ташкентской, тбилисской, вильнюсской, сибирской... К разномастному церковному золоту окладов, подсвечников, облачений примешивалась и многоцветная медь синоплинских голов.

Между Медеей и Александрой стоял Иван Исаевич, широкий, с мучнисто-розовым лицом и асимметричной морщиной вкось лба. Старые сестры стояли перед гробом, украшенным белыми и лиловыми гиацинтами, и единодушно думали одно и то же: мне бы здесь лежать, среди красивых цветов, Никиной рукой уложенных, а не бедной Маше...

За свою долгую жизнь они к смерти притерпелись, сроднились с ней: научились встречать ее в доме, занавешивая зеркала, тихо и строго жить двое суток при мертвом теле, под бормотанье утешительных псалмов, под световой лепет свечей... знали о мирной кончине, безболезненной и непостыдной, знали и о разбойничьем, незаконном вторжении смерти, когда погибали молодые люди... Но самоубийство было невыносимо. Невозможно было смириться с той умелькнувшей минутой, когда совершенно живая девочка самочинно выпорхнула в низко-гудящий водоворот медлительных сырых снежинок — прочь из жизни...

Ко гробу вышел иеромонах, и певчие запели слова, лучшие из всех, сложенные в часы земного расставания... разлучения...

Служба была по-гречески, никто ничего не понимал, даже Медея различала только отдельные слова. Но все ясно чувствовали, что в этом горьком и непонятном пении содержится смысл больший, чем может вместить даже самый мудрый из людей.

Кто плакал, плакал молча. Гвидас-громила нервно провел кожаной перчаткой под глазом. Дебора Львовна, свекровь, попробовала было заплакать в голос, но Алик кивнул своим врачам, и они вывели ее из церкви.

Похоронили Машу на Немецком кладбище, в могилу к родителям, а потом поехали в Успенский — Александра Георгиевна настояла устроить поминки там.

Народу было много, за стол усадили только стариков да приезжих родственников. Молодежь вся была на ногах, с рюмками и бутылками в руках.

Маленький Алик улучил момент и спросил у отца шепотом:

— Пап, как ты думаешь, она умерла навсегда?

— Скоро все изменится и все будет очень хорошо, — педагогически скривил ему отец.

Алик Маленький посмотрел на него длинным и холодным взглядом:

— А я в Бога не верю...

Утром того дня пришло разрешение на выезд. На сборы было дано двадцать дней, даже много. Проводы в памяти друзей слились с поминками, хотя проводы Алик устраивал в Черемушках. Дебора Львовна осталась с сестрой, и Алик уезжал с сыном и клетчатым болгарским чемоданом среднего размера.

Таможенники отобрали у него один листочек бумаги — последнее Машино стихотворение, написанное незадолго до самоубийства. Разумеется, он знал его наизусть:

Исследование тянет знатока
Уйти с головкой в сладкие глубины
Законов славной школы голубиной
Иль в винные реестры кабака,

Но опытом тончайшим, как струна,
Незримые оттенки испытую,
Сам станет голубем или глотком вина,
Всем тем, чего его душа взыскует,

И, воплощаясь в помыслы свои,
Беспутнейшие в человеческой стае,
Мы головы смиренные склоним
Пред тем, кто в легкой вечности истаёт...

ЭПИЛОГ

Последний раз мы с мужем были в Поселке минувшим летом, в июле 1995 года. Медеи давно уже нет в живых. В ее доме живет татарская семья, и мы постеснялись зайти туда. Пошли к Георгию. Он построил свой дом еще выше Медеиного и пробил артезианскую скважину. Его жена Нора по-прежнему имеет детский облик, но вблизи видно, что подглазья иссечены тончайшими морщинками — так стареют самые нежные блондинки. Она родила Георгию двух дочерей.

В доме было многолюдно. Я с трудом узнавала в этих молодых людях подросших детей семидесятых годов. Пятилетняя девочка в тугих рыжих кудряшках, очень похожая на Лизочку, скандалила из-за какой-то детской чепухи.

Георгий обрадовался моему мужу, с которым давно не виделся. Мой муж тоже из семьи Синопли, но не от Харлампия, а от его младшей сестры Евпраксии. Долго считались родством, получилось, что четвероюродные братья.

Георгий повел нас на кладбище. Медеин крест стоял рядом с Самониным обелиском и скромно уступал ему в высоте. Георгий рассказал нам на обратном пути, как неприятно удивлены были племянники Медеи, когда после ее смерти обнаружилось завещание, по которому дом отходил никому не известному Равилю Юсупову. Этого Юсупова никто искать не стал, и Георгий перебрался тогда в Медеин дом с Норой и маленькими дочками. Работу нашел себе на биостанции.

Через несколько лет появился Равиль, точно так же, как когда-то у Медеи, — поздним вечером ранней весны, и тогда Георгий достал из сундучка завещание и показал его Равилю. Однако прошло еще несколько лет, прежде чем Равиль получил этот дом. Почти два года шел нелепый судебный процесс, чтобы переоформить дом. И произошло это в конце концов исключительно благодаря настойчивости Георгия, дошедшего до республиканских инстанций, чтобы Медеино завещание было признано действительным. С тех пор все поселковые стали считать его сумасшедшим.

Сейчас ему уже исполнилось шестьдесят, но он по-прежнему крепок и силен. При постройке дома ему много помогал Равиль с братом. Когда дом был поставлен, поселковые переменили мнение и теперь говорят, что Георгий страшно хитрый: вместо ветхого Медеино дома получил новый,

в два раза больший.

Вечер мы провели в этом доме. Летняя кухня очень похожа на Медеину, стоят те же медные кувшины, та же посуда. Нора научилась собирать местные травы, и так же, как в старые времена, со стен свисают пучки подсыхающих трав.

Многое за эти годы переменялось, семья еще шире разлетелась по свету.

Ника давно живет в Италии, вышла замуж за богатого толстяка, остроумного и обаятельного, выглядит матроной и страшно любит, когда в ее богатый дом в Равенне приезжают родственники из России. Лизочка тоже живет в Италии, а вот Катя в Италии не прижилась. Как это иногда случается с полукровками, она страшная русофилка. Вернулась, живет на Усачевке, и рыженькая девочка, которая скандалила во дворе, ее дочка.

Алик Большой стал американским академиком и того и гляди ошастливит человечество лекарством от старости, а вот Алик Маленький после окончания Гарвардского университета подался «в евреи», изучил иврит, надел кипу, отрастил пейсы и теперь заново учится в Бней-Брак, еврейской академии под Тель-Авивом. Алик Большой через несколько лет после переезда в Америку издал сборник Машиных стихов. Георгий принес нам эту книжечку, на первой странице был ее портрет, сделанный с любительской фотографии ее последнего Крымского лета. Она обернулась и смотрит в объектив с радостным изумлением. Стихи ее оценивать я не берусь — они часть моей жизни, потому что то последнее лето я тоже провела с моими детьми в Поселке.

Бутонов прилепился к расторгуевскому дому, перевез туда, после долгих уговоров, жену с дочкой и родил сына, в которого беспредельно влюблен. Он давно не занимается спортивной медициной, сменил направление и работает со спинальными больными, которых бесперебойно поставляет ему то Афганистан, то Чечня.

Все старшее поколение ушло — кроме Александры Георгиевны, Сандрочки.

Она долгожительница, ей уже под девяносто. Последние два года она не приезжала в Крым, стало тяжеловато. После Машиней смерти она приезжала сюда каждое лето, а последний год Медеи провела здесь вместе с Иваном Исаевичем и проводила сестру. Иван Исаевич считает обеих сестер праведницами. Но Сандра улыбается своей до старости не увядающей улыбкой и поправляет мужа:

— Праведница у нас была одна...

Я очень рада, что через мужа оказалась приобщена к этой семье и мои

дети несут в себе немного греческой крови, Медеиной крови. До сих пор в Поселок приезжают Медеины потомки — русские, литовские, грузинские, корейские. Мой муж мечтает, что в будущем году, если будут деньги, мы привезем сюда нашу маленькую внучку, родившуюся от нашей старшей невестки, черной американки родом с Гаити. Это удивительно приятное чувство — принадлежать к семье Медеи, к такой большой семье, что всех ее членов даже не знаешь в лицо и они теряются в перспективе бывшего, небывшего и будущего.